

И.В.Гёте

ТАЙНЫ  
СКАЗКА

—  
Рудольф  
Штайнер  
О ГЁТЕ



КОСАКЕУМ

ББК 84.4 Герм  
Г 44

Макет и оформление  
*Сергея Стулова*

Переводы произведений Р. Штайнера  
изданы с согласия Попечительства о наследии  
Рудольфа Штайнера в Дорнахе (Швейцария)

ISBN 5-7808-0008-1

© Издательство  
"Энигма", 1996

## СОДЕРЖАНИЕ

Иоганн Вольфганг  
Гёте

ТАЙНЫ  
(ФРАГМЕНТ)

*Перевод Б. Пастернака*  
8

О фрагменте «Тайны»  
*Перевод А. Габричевского*  
28

СКАЗКА  
*Перевод Н. Федоровой*  
34

Рудольф  
Штайнер  
ДУХОВНЫЙ СКЛАД ГЁТЕ СКВОЗЬ  
ПРИЗМУ «ФАУСТА» И СКАЗКИ О ЗМЕЕ  
И ЛИЛИИ  
*Перевод А. Ярина*

I. «Фауст» Гёте как образ его  
эзотерического мировоззрения

87

II. Духовный склад Гёте  
сквозь призму «Фауста»

127

III. Духовный склад Гёте  
сквозь призму сказки  
о зеленой змее и Лилии

148

«ТАЙНЫ»

РОЖДЕСТВЕНСКО-ПАСХАЛЬНАЯ

ПОЭМА ГЁТЕ

*Перевод А Ярина*

172

Примечания

214

ИОГАНН ВОЛЬФГАНГ ГЁТЕ

ТАЙНЫ  
ФРАГМЕНТ

## Посвящение

**Ш**аги зари слышав, с перепугу  
Непрочный сон ресниц моих бежал.  
Как утро свеж, покинул я лачугу  
И горный путь до света продолжал.  
Тонули ноги в сонной неге луга,  
Бурьян в росе купался и дрожал,  
Зажглась заря, и всё кругом, пьянея,  
Делиться звало упоеньем с нею.

Меж тем, как я всходил, из долу, с поём  
Пополз туман. Он крался, рвался, рос,  
Плескал волной, и вдруг, сгустясь застоём,  
Лег сединой вокруг моих волос.  
Не стало гор. Туман застлал лицо им.  
Угрюмой мглой и я кругом оброс.  
И вот я облит тучами и, мнится,  
Один с собою заключен в темницу.

Был миг — я ждал: вот-вот, одним прорывом  
Развалит солнце дымные пласты.

Спадала мгла и стлалась по обрывам,  
 Кой-где рвалась, цепляясь за кусты,  
 Я солнце ждал найти вдвойне красивым  
 По временном затмении красоты.  
 Еще у света с тьмою шло боренье,  
 Вдруг блеск иной, сверкнув, затмил мне  
 зренье.

Когда ж опять я ощутил отвагу  
 Открыть глаза, то было в муку мне  
 Глядеть на доли, тлевшие сквозь влагу,  
 И выси гор, горевшие в огне.  
 Вдруг облака пошли нести ватагой  
 Виденье женской тени к крутизне.  
 Блеща красой, немислимой на свете,  
 Замедлила полет, меня заметя.

“Не узнаешь? — произнесла устами,  
 Дышавшими любовью. — Не узнал?  
 А я ведь — та, в чьем неземном бальзаме  
 Иной твой шрам житейский заживал.  
 На что еще, как не на связь меж нами,  
 Ты с детских лет так свято уповал?  
 В далеком прошлом не в слезах по мне ли  
 Я заставляла мальчика в постели?”

“Да! — я вскричал, на землю упавая. —  
 Я — твой давно. Ты родилась не вдруг.  
 Ты мне чело студила в зной, когда я  
 Ловил на лбу небесных крыльев пух,  
 Когда любовь, как буря молодая,

Отбушевав, до дна взрывала дух.  
 Ты все дала, ничем не обделила,  
 Раздатчица всего, что сердцу мило!

Тебя не назову я. Как ни много  
 Тебя зовущих дерзостно своей,  
 Для глаз людей ты — мука и тревога,  
 Хотя и — цель для всех людских очей.  
 Я с ними жил... Нашел к тебе дорогу,  
 И вот один, без них бреду по ней...  
 Хотел пролить твой свет, чтоб видел

всякий, —  
 А должен скрыть, замкнуть его во мраке”.

“Суди ж теперь, — на те мои слова  
 С усмешкой отвечала, — не умно ли  
 От вас держаться в скрытности?.. Едва  
 Вообразил ты, что владеешь волей  
 И что соображает голова, —  
 Сверхчеловеком мнишь себя, не боле!  
 Так велико ль от всех твое отличие?..  
 Познай себя и чти людской обычай”.

“Не так толкуешь, — вскрикнул я, — прости!  
 Ужель напрасно видит это око?  
 Благой порыв таится во плоти,  
 Я понял смысл даров твоих высоких:  
 Они должны для ближнего расти  
 И я не властен их зарыть без проку.  
 Зачем всю жизнь искал к тебе пути,  
 Когда не с тем, чтоб братьев навести?”

Тем временем с участием снисхожденья  
 Она на мне остановила взор.  
 Я узнавал себя в глазах виденья,  
 Читал себе двоякий приговор.  
 Но улыбнулась — и сошли все тени,  
 И ожил дух мой, и повлек простор.  
 Казалось, я приблизиться к ней вправе,  
 Свои сомнения и страх оставя.

И руку подняла она над краем  
 Впитавших запах пастбищ облаков.  
 В ее руках туман стал осязаем,  
 Поплыл за ней, мелькнул, и был таков.  
 Я глянул вниз: был дол неузнаваем.  
 Я глянул вверх: был свод далек и нов.  
 Одна она лишь, прячась в покрывало,  
 Сквозные складки ткани волновала.

“Я знаю, чем за слабостями всеми  
 Твои движенья сердца хороши. —  
 (Звук этих слов мне памятен все время.) —  
 Прими мой дар. Счастливец, кто в тиши  
 Владает им, ничто тому не бремя.  
 Блажен, кто принял в простоте души  
 Поэзии покров благоуханный  
 От Истины, ее руками тканый.

Когда тебе с друзьями в полдень станет  
 Невмочь дышать, над ними им повеи;  
 Тотчас вечерней свежестью потянет,  
 На вас пахнет, нахлынув, ветер с полей,

Могилы ложной жутью не обманет,  
 Не больше тучи тающей над ней,  
 Слепая ярость жизни усмирится,  
 День станет кроток, ночь дохнет зарницей”.

Придите же, друзья, когда дорогой  
 Вам станет трудно бремя дней нести  
 Или когда удача как из рога  
 Свои цветы рассыплет по пути.  
 Навстречу дням грядущим выйдем в ногу  
 И будем жизнь счастливую вести.  
 Когда же всех оплачут нас, то внуки  
 Любовью нашей будут жить в разлуке.

# Тайны

К необычайной песне приступаю.  
Склоните слух к ней. Всякому почет!  
Извилисто ползет стезя кругая,  
Где — меж теснин, где волею течет,  
Где пропадает, в чаще утопая.  
Но нам и тут теряться не расчет:  
Не сбились мы, — и, выйдя из ущелий,  
Мы в верный срок очутимся у цели.

Но не старайтесь силою понятий  
Прямой разгадки песни всей добиться.  
Иных она смутит, для многих — кстати,  
Но будет всем на пользу углубиться.  
Значеньям нет числа, их не обнять ей,  
Так мать-земля на тьмы цветов дробится.  
Кой-что сумеет вынести всяк во благо.  
Родник про всех скитальцев точит влагу.

Голодный, покоровшийся невзгодам,  
При посохе, паломником одет,  
Измученный тяжелым переходом,  
Внушенным свыше, чтимым как обет,  
Спустился в лог пред солнечным заходом  
Брат Марк, и хоть стези терялся след,  
Но верою проникся он, что тут-то  
Он и найдет ночлег себе, как будто.

Он открывает, присмотревшись к глыбам,  
Пропаший след. Он еле отличим.  
Подъем идет обрывами, изгибом,  
Тропа ведет к хребту путем кружным.  
Он — на скале. Утес поднялся дыбом,  
И — снова солнце, снова даль пред ним.  
С восторгом замечает он, как мало  
Осталось ему до перевала.

А рядом — солнце между туч стоячих  
Еще в сниженьи попирает их!  
Собравши силы, Марк спешит напрямь их,  
Мгновенье — и вершины б он достиг!  
Там, у конца его трудов горячих,  
Решится, нет ли тут следов людских.  
Он переводит дух: за высшей вехой  
Трезвон колоколов разносит эхо.

Взобравшись на утес, он видит: сбоку  
Лощину приукрыл крутой отвес.  
Он смотрит вниз, и счастьем блещет око:

Там дом стоит! Садясь за ближний лес,  
В мгновение это солнце издалёка  
Шлет в окна отблеск гаснущих небес.  
То — монастырь. Горя от нетерпенья,  
Туманным лугом он спешит к строенью.

Уж он у стен, простую душу эту  
Объемлющих святою тишиной.  
Над аркой входа — странная замета.  
Он поражен эмблемою стеной.  
И он стоит, шепча слова обета,  
Звучащие в душе его одной,  
Стоит и, размышляя, торопее.  
Меж тем садится солнце, звон слабеет.

Знакомый символ на дверном забрале,  
Тот знак, в который с верой в благодать,  
С мольбой вперялось столько глаз в печали,  
Который стольким стойко дал страдать,  
С которым рати в поле побеждали,  
Который смертью смерть сумел поправить.  
Животворящий ток его пронзает,  
Он видит крест и взоры потупляет.

Он чует вновь, какой завет дарован  
Полмиру им. Он вновь, как прозелит,  
Каким-то новым чувством очарован,  
Глядит на крест. Необычайный вид!  
Крест розами увит и облицован.  
По чьей он мысли розами увит?

Сухую строгость символа волнуя,  
Гирляндой розы льнут к нему вплотную.

И облака из серебра, витая,  
Кресту, как розы, служат оторочкой.  
Из середины брызжет мощь святая  
Тройных лучей, одной разлитых точкой.  
Девиза нет, и, ясность отменяя,  
Щит не осмыслен ни единой строчкой.  
Смеркается. Он все еще пред зданьем,  
Сраженный молчаливым назиданьем.

Уже в виду горящих звезд, он позже  
Стучится наконец в врата ограды.  
Ворота — настезь, будто ждан прохожий,  
К нему простерты руки, гостю рады.  
Он говорит, отколь веленье Божье  
К ним шлет его. Он приковал их взгляды.  
Все слушают, отдавшись обаянью  
Пославшего, посланца и посланья.

К нему теснятся, каждый слышать хочет.  
Тая дыханье, весь их круг притих,  
Все сияется свой дух сосредоточить  
На родственности слов его простых.  
Как если бы младенец стал пророчить,  
Так действует его рассказ на них.  
Он кажется им в искренности этой  
Каким-то существом с иной планеты.



"Пожалуй к нам; ты — вестник утешенья! —  
 Старейший восклицает. — В добрый час!  
 Ты видишь нас с печатью огорченья,  
 А сам, меж тем, нас радостью потряс.  
 Не удивляйся. Нам грозит лишенье.  
 Свой страх, свои заботы есть у нас.  
 В недобрый час дает приют подворье  
 Чужому: ты разделишь наше горе.

Знай!.. Муж, связавший всех нас воедино,  
 И в ком мы чтим отца и побратима,  
 Кто жизнь меж нас раздул как тлень лучины,  
 Покинет вскоре нас. Неотвратима  
 Поведанная им самим кончина.  
 Он род и час ее — как ни проси мы —  
 Таит. И эта ясность роковая  
 Гнетет нас, неизвестное скрывая.

Гляди, мы все без исключенья седы,  
 Самой природой нам сужден покой,  
 Здесь нет того, кто б, не сбивавшись с следа,  
 Юнцом не в срок на жизнь махнул рукой.  
 Нет. Испытав весь хмель земного бреда,  
 Как парус наш оставил вихрь мирской,  
 Искать мы стали верного привала.  
 Не раньше нам зайти сюда пристало.

В душе у благородного собрата,  
 Приведшего нас в гавань, редкий мир.  
 Я свыкса с ним, сопровождав когда-то  
 Его в миру, пред тем как кинуть мир.

Уж то, что он замкнулся — род утраты,  
 Но вскоре круг наш вовсе будет сир.  
 Что значит человек? Как он несчастен,  
 Что жизнь отдать за лучшего не властен!

Единственный предел моих желаний!  
 Зачем оно без исполненья стынет!  
 О что их, отошедших в поминанья!  
 Но если он, и он меня покинет,  
 Как воздержусь от горького стенанья?  
 Ах, гость! Будь тут он, как бы ты был принят!  
 Но дом — на нас; не назван заместитель,  
 Хоть в мыслях и покинул он обитель.

Он каждый день средь нас часок короткий  
 Проводит, оживленной, чем когда.  
 Мы узнаем из уст его, как кротко  
 Был Промыслом брегом он от вреда.  
 Мы ценим эту повесть как находку,  
 И, чтобы не пропала без следа,  
 С рассказчиком садится брат радивый  
 Записывать со слов рассказ правдивый.

Признаться, часто с большею охотой,  
 Чем слушать, сам бы взялся за рассказ.  
 Я б в нем привел подробностей без счету,  
 На памяти не меркнет их запас.  
 Следя за ходом повести с заботой,  
 Не удовлетворяюсь ей подчас.  
 В моих устах предмет, не меньше знача,  
 Расцвел немало б в лучшей передаче.

Как третий, не стесняясь изложением,  
 Я б рассказал, какая весть была  
 Родительнице пред его рождением,  
 Как в ночь крестин звезда была светла,  
 Как к голубям, бушуя опереньем,  
 На двор спустился коршун, не со зла,  
 Не хищником, не за живой добычей,  
 Но как бы стражем мира стаи птичьей.

Так, из стыда, он умолчал нам тонко,  
 Как мальчиком, застав сестру свою  
 Во сне, с змеей, обвившею ручонку,  
 Кормилицу ж, со страха на краю  
 Погибели оставившей ребенка,  
 Он взял рукой и задушил змею.  
 Мать, прибежав, не знала, как поверить,  
 Что дочь жива, и чем ей сына мерить.

Он таюже скрыл, как от удара шпагой  
 Из камня ключ в горах пред ним забил;  
 Как он бурлил; как, пав на дно оврага,  
 Он оглушительен и буен был.  
 Теперь там речка так же брызжет влагой,  
 Как в день, когда он камень раздробил,  
 И спутники, деянья очевидцы,  
 Едва водой решались поживиться.

Когда природой кто-нибудь возвышен,  
 Нет дива, что во всем ему успех.  
 Что прах почтен, в том горний голос слышен.

Излишне выделять его из всех.  
 Но если им в самом себе утишен  
 Сам человек, он сам, тогда не грех  
 Его в пример показывать друг другу  
 С словами: вот он, вот его заслуга!

Бесспорно: смысл всех сил — ширять  
 в просторе

И посылать наружу свой разряд.  
 Меж тем мирской поток в своем напоре  
 Несет на нас цепь мчащихся преград.  
 Между душевных смут, во внешнем споре  
 И слышим мы, что значит наш разлад:  
 От уз, в которых целый мир страдает,  
 Свободен тот, кто волю обуздает.

Как рано он черту усвоил, коей  
 Здесь имя “добродетель” — не к лицу.  
 Как возраст чтит! С готовностью какою,  
 Покоя старость, услужал отцу  
 В часы, как тот, его досуг расстроая,  
 Брал мальчика под строгую узду!  
 Ни дать ни взять — найденыш-побродяга,  
 Служить за харч считающий за благо!

Сперва он пешком побывал в походах,  
 Бойцам пажом при стремени служа.  
 Стерег коней и стряпал на господ их,  
 Смотрел, чтоб их постель была свежа.  
 В посылках и в бегах, презревшим отдых

И днем и ночью видели пажа.  
Привыкнув жить всегда другим во славу,  
Он труд считал естественной забавой.

Точь-в-точь как в бой бросаясь, по-геройски,  
Он в сече стрелы подбирал с земли,  
Спешил он после, от работы в войске,  
За травами для тех, что полегли.  
Он знал в них толк и применял по-свойски —  
Все здоровыми почесть себя могли.  
Кто не сиял, любуясь со стремян им?  
Один отец не баловал вниманьем.

Как кораблю нет тягости в балласте,  
Как он не создан плыть порожняком,  
Не тяготился сын отцовской властью  
И как закона слушался во всем.  
Как отрок — честью, как подросток —

страстью,  
Он — тягой чуждой воли был влеком.  
Отец, изобретая испытанья,  
Терялся меж похвал и приказаний.

Но сдался наконец и он, на деле  
Свое признание сыну доказав.  
Куда все строгости девались, еле  
Коснулся дома рыцарский устав?  
Дареный конь и меч в его наделе,  
Взамен услуг — раздолье новых прав,  
И в орден он вступает, с утвержденья  
Особых качеств и происхожденья.

Дни целые я мог бы до потемок  
Повествовать, запас бы не иссяк.  
Настанет время, эту жизнь потомок  
Поставит вровень с лучшими из саг.  
И что в стихах, где вымысел так громок,  
При всей неправде трогает нас так,  
Тем самым тут пленимся мы тем боле,  
Что эту быль проверить в нашей воле.

А спросишь ты, как избранного имя,  
На чье чело луч взысканности лег,  
Которого, как я ни славь своими  
Хвалами, вечно истинной далек, —  
Гуманус звать его, и меж живыми  
Я б равного ему назвать не мог;  
Я после разовью тебе дословно  
Пути его старинной родословной...”

Сказал старик и продолжал бы далек,  
Захваченный и сам волною притч,  
А мы б потом недели коротали  
За сказками — но тут раздался клич  
Его собратьев, вышедших вначале  
И заглянувших снова, чтоб застичь  
Обоих в полной страсти этих былей.  
Они вошли и старца перебили.

К концу обеда Марк поднялся с кресел  
И попросил налить воды бокал.  
Он выпил воду, всем поклон отвесил —  
Пред этим Богу должное воздал, —

Затем, обласкан, угощен и весел,  
Он отведен был в необычный зал.  
Мы из чудес, подсмотренных случайно  
В том зале им, не станем делать тайны.

Слепить глаза убранство не искало.  
Был стрельчат все поддерживавший свод.  
Тринадцать кресел по стенам стояло  
При аналоях, сдвинутых вперед.  
Их спинки и резные пьедесталы  
Ласкали взгляд — безмолвный хоровод,  
Свидетельствовавший о тихом месте,  
О жизни сообща и благочестьи.

И столько же щитов у изголовий  
Успел он счесть, охваченный вполне  
Серьезностью немого инословья.  
Казалось, что, прибитые к стене  
Не спесью родовой, но любовью,  
Они таят немалое на дне.  
Между гербов он в среднем необычный  
Знакомый крест меж роз узнал вторично.

Вот где душе с воображеньем — темы.  
От вещи к вещи как отвлечь ее!  
Там — над щитом блеск выпуклого шлема,  
Здесь шпагой перекрещено копьё —  
Оружие, что подберем везде мы,  
Где поле битвы прячется в репье.  
Тут — флаги, чуждых стран великолепье,  
А там — сдается, кандалы и цепи.

Собрание поникает на колени  
У кресел, руки на груди скрестив.  
Зал наполняют тихие моленья,  
Отрадой веры дышит их мотив.  
Затем, благословясь пред удаленьем,  
Уходят спать на краткий перерыв,  
Другие остаются, и, во власти  
Увиденного, Марк при этой части.

Как ни устал он, сон не привлекает:  
Сильней — очарование картин:  
Вот огненный дракон огонь глотает.  
Вот кисть руки засунул паладин  
В медвежью пасть и кровью истекает.  
Щиты висели к среднему впритин,  
И равный промежуток отделял их  
От среднего креста меж гроздий алых.

“Ты к нам пришел чудесными путями, —  
Заговорил старейший с ним опять. —  
Тебя без слов зовет остаться с нами  
Язык щитов. Догадкой не узнать  
Их прошлого. Доверье это сами  
Тебе успеем после оказать.  
Но ты не ошибешься в ожиданиях,  
Ждав повести о мужестве в страданиях.

Не думай, что старик лишь о старинном  
Ведет рассказ. Здесь жизнь идет своя,  
И, придавая новый смысл картинам,  
Вздывает их, как покрывал края.

---

Когда ты приготовишься, скажи нам,  
И будешь принят в тайники жилья.  
Пока же ты находишься в преддверьи,  
Но кажешься мне стоящим доверья”.

По кратком сне в укромной тихой келье  
Его вдруг будит колокольный звон.  
Он тотчас же срывается с постели,  
В мечтах себя в часовне видит он.  
Чуть пробудясь, едва одевшись, еле  
Оправясь, он из кельи рвется вон,  
Опережая зов молитвословья,  
Трясет дверьми и видит: на засове.

Тут, притаясь, он слышит троекратный  
Удар по чугуну. Не бой часов,  
Не колокол, нет, звук иной, приятный,  
Как флейты плач за шумом голосов,  
Примешиваться стал к нему невнятно,  
Как будто, отдаленная, как зов,  
Немая песня ночи пролилася  
Над цепью пар, танцующих в согласьи.

Он — у окна, где, может быть, воочью  
Найдется ключ к разгадке тех рулад.  
Уж брезжит день. Клоки нависшей ночи  
С востока тронул утра аромат.  
Но не мара ль снует, его мороча,  
И беглым глянцем озаряет сад?  
То — факелы. Над головою взвив их,  
Три отрока спешат, змеясь в извивах.

---

Он видит: ткань, обнявшая их станы,  
Бела как снег и не теснит шагов.  
Их волоса в венках благоуханны,  
Таких же роз пучки у кушаков.  
Похоже, будто с бала, неустанны,  
Сейчас ушли, плясав до петухов.  
Они спешат, и тушат чрез мгновенье  
Свои огни, и — тонут в отдалении.

ОБЩЕСТВО учащихся юношей в одном из первых городов Северной Германии придало своим дружественным встречам определенную форму, а именно — они сначала прочитывают поэтическое произведение, затем по поводу него взаимно высказывают свои мнения, с пользой проводя часы совместного общения. Кружок этот посвятил свое внимание также и моему стихотворению, озаглавленному

Тайны,

подверг его обсуждению и решил, после того как оказалось невозможным согласовать отдельные мнения, запросить меня, насколько вообще целесообразно разъяснить подобного рода загадки; при этом они сообщили мне вполне приемлемое толкование, на котором сошлось большинство из них. Находя в этом предложении и в самом способе обращения

столько доброй воли, смысла и достоинства, я и намереваюсь ответить на него следующим разъяснением тем охотнее, что это загадочное произведение уже не раз испытывало толковательские способности многих читателей, я же в своей авторской исповеди едва ли так скоро дойду до той эпохи, когда возник повод для этой работы и когда я сразу же в короткое время довел ее до того состояния, в котором она стала известной, а затем прервал ее и больше к ней не возвращался. Это было в середине восьмидесятых годов.

Я имею право предположить, что сама поэма читателю знакома, однако хочу упомянуть из нее следующее: всякий читавший ее вспомнит, что юный монах, заблудившийся в гористой местности, обнаруживает наконец в приветливой долине величественное здание, заставляющее его предполагать, что это — обитель благочестивых, таинственных мужей.

Там он находит двенадцать рыцарей, которые, перенеся бурную жизнь, теснившую их трудами, страданиями и опасностями, наконец приняли обет жить здесь и в тиши служить Богу. Тринадцатый, в котором они признают своего главу, как раз готов с ними расстаться; каким образом — остается скрытым. Однако он за последние дни начал повествование о своем жизненном пути — о чем в кратких намеках сообщается новоприбывшему и гостеприимно встреченному духовному

брату. Таинственное ночное явление празднующих юношей, которые в поспешном беге своими факелами освещают сад, заканчивает собою отрывок.

Теперь, признаваясь в своих дальнейших намерениях, мало того — сообщая общий план, а этим самым и назначение поэмы, я открою, что имелось в виду провести читателя через нечто вроде идеального Монсеррата, с тем чтобы, следуя по пути, проложенному на самых различных высотах гор, скал и утесов, при известных обстоятельствах выйти на обширные и привольные равнины. Он посетил бы каждого из рыцарей-монахов в его обители и, созерцая климатические и национальные различия, узнал бы, что отменнейшие мужи могут со всех концов земли стекаться сюда, где каждый из них в тиши по-своему почитал бы Божество.

Читатель или слушатель, совершающий эту прогулку в сопровождении брата Марка, заметил бы, что самые различные образы и мысли и ощущения, которые благодаря атмосфере, стране, народности, потребности, привычке развиваются в человеке или на нем отпечатлеваются, собраны здесь, в этом месте, для того, чтобы воплотиться в отдельных выдающихся индивидуумах, и для того, чтобы жажда высшего развития, хотя и несовершенная в единичном, нашла себе достойное выражение путем совместной жизни.

Дабы, однако, это стало возможным, они сплотились вокруг одного человека, носящего имя *Гуманус*, на что они не решились бы, если бы все они не чувствовали в себе некоторого сходства с ним, некоторого приближения к нему. Но вот этот посредник неожиданно хочет от них уйти, и они внимают повести его прошлых состояний, столь же ею потрясенные, сколь и воздвигнутые. Однако рассказывает ее не он один; но каждому из двенадцати, с каковыми всеми он в ходе времени соприкасался, дано сообщить и поведать об одной части сего великого жизненного пути.

Засим обнаружилось бы, что каждая отдельная религия достигает момента своего высшего цвета и плода, в который она приблизилась к этому верховному вождю и посреднику, мало того — всецело с ним воссоединилась.

Эпохи эти должны были явиться воплощенными и закрепленными в тех двенадцати представителях так, чтобы любое признание Бога и добродетели должно было оказаться достойным всяческого почета и всяческой любви, в сколь бы удивительном образе оно ни проявлялось. И отныне, после долгой совместной жизни, Гуманус уже мог с ними разлучиться, ибо дух его воплотился во всех них, стал всем им сопринадлежен, уже более не нуждаясь в собственных земных покровах.

Когда же слушатель, он же участник, соглас-

но этому замыслу, будет проведен в духе через все страны и времена и всюду познает все самое отрадное, что любовь Бога и человека созидает в столь многообразных облициях, из этого должно будет проистекать самое приятное чувство, поскольку ни в чем бы не проявились те отклонения, злоупотребления и искажения, благодаря которым каждая религия делается в известные эпохи ненавистной.

А так как все это действие совершается в Страстную неделю и главный отличительный знак этого сообщества — крест, увитый розами, легко можно предвидеть, что запечатленная Пасхальным днем вековечность повышенных человеческих состояний во всей своей утешительности обнаружилась бы и здесь при разлуке с Гуманусом.

Затем, однако, чтобы столь прекрасный союз не оставался без главы и посредника, чудесным предначертанием и откровением на это высокое место возводится бедный пилигрим брат Марк, который, не обладая широким кругозором и не стремясь к недостижимому, своим смирением, послушанием и преданным деланием в благочестивом кругу поистине заслужил того, чтобы предстоять благомыслящему содружеству, доколе оно пребудет на земле.

Если бы поэма эта появилась в законченном виде тридцать лет тому назад, когда она была задумана и начата, она до известной сте-

пени опередила бы свое время. Да и в наши дни, хотя с того времени идеи расширились, взгляды прояснились, многие, быть может, охотно увидели бы в поэтической одежде то, что отныне общепризнанно, и этим нашли бы поддержку в том образе мыслей, в котором единственно человек может найти счастье и покой на своем собственном Монсеррате.

*Ваймар, 9 апреля 1816 г.*



ИОГАНН ВОЛЬФГАНГ ГЁТЕ

СКАЗКА

У БОЛЬШОЙ реки, что от недавнего ливня вздулась и подтопила берега, спал в хижине старик перевозчик, усталый после дневных трудов. Среди ночи его разбудили громкие голоса: какие-то пугники желали переправиться через реку.

Выйдя наружу, он увидел над привязанной лодкою два изрядных болотных огня, которые наперебой уверяли, будто очень спешат и ждут не дождутся поскорее попасть на тот берег. Старик не замедлил отвязать лодку и с привычной сноровкой направил ее наискось через поток, незнакомцы же тем временем быстро переговаривались между собой на неведомом шипящем языке, а порою с громким хохотом вприскочку скользили то по бортам и скамейкам, то по дну суденьшка.

— Лодка качается, — вскричал старик, — и может перевернуться, коли вы не угомонитесь! Ну-ка, огни, сядьте спокойно!

В ответ на это требование огни дружно закатились хохотом, насмешничая над стариком, и нисколько не притихли, а разошлись пуще прежнего. Он, однако, вытерпел все их шалости и скоро пристал к противоположному берегу.

— Вот вам за труды! — С этими словами путники встряхнулись, и в лодку, прямо на влажное дно, градом посыпались блестящие золотые монеты.

— Ради всего святого, что это вы делаете?! — закричал старик. — Ведь этак недолго и большую беду навлечь! Упади в воду хоть одна монета, эта река, которая совершенно не выносит золота, вскипела бы громадными волнами и поглотила бы меня вместе с суденышком, да и вам бы, я чай, несдобровать. Ненадобно мне ваших денег, возьмите их обратно!

— Мы никак не можем взять обратно то, что стяхнули, — возразили огни.

— Ну вот, опять мне забота, — проворчал старик, нагнувшись и собирая золотые в шапку, — разыскивай их теперь, неси на берег да закапывай в землю.

Огни меж тем выпрыгнули из лодки, и перевозчик окликнул их:

— Эй, а плата моя где?

— Кто не берет золото, пускай работает даром! — отозвались они.

— Знайте же, расплатиться со мною можно только плодами земли.

— Плодами земли? Мы ими брезгаем, даже не пробовали никогда.

— И все-таки я не могу вас отпустить, пока вы не обещаете мне прислать три капустных кочана, три артишока и три крупные луковицы.

Болотные огни думали играючи шмыгнуть прочь, но не тут-то было; непонятной силой обоих приковало к земле; пренеприятнейшее ощущение, такого они отроду не испытывали. Делать нечего, пришлось им обещать, что в скором времени они выполнят его требование; тогда старик отпустил их и оттолкнул лодку от берега. Он был уже далеко, когда огни закричали вдогонку:

— Эгей, старина, послушайте! Самое-то главное мы забыли!

За дальностью расстояния перевозчик их не услышал. Он пристал на той же стороне реки, только ниже по течению, намереваясь там, в гористой местности, до которой река нипочем не доберется, схоронить опасное золото. Между высокими утесами он отыскал бездонную расселину, высыпал туда монеты и воротился домой, в свою хижину.

А в расселине отдыхала прекрасная зеленая змея, которую звон падающих монет пробудил от сна. Едва она заметила сверкающие кружочки, как тотчас с превеликой жадностью их проглотила, после чего аккуратно подобрала и все монетки, рассыпанные по кустам и застрявшие в каменных трещинах.

Только что она их проглотила — и сразу же преисполнилась блаженства, чувствуя, как золото тает у нее внутри и растекается по всему телу, вдобавок, к огромной своей радости, она заметила, что сделалась прозрачной и сияющей. Ее давно уверяли, что этакое вполне может произойти; но поскольку она была в сомнении, надолго ли этот свет сохранится, любопытство и желание заручиться на будущее полной ясностью выгнали ее из расщелины — разузнать, кто бы мог высыпать туда это лакомое золото. Никого она не нашла. И с тем большей приятностью, скользя между травами и кустами, восхищалась собою и чарующим светом, который разливался от нее среди свежей зелени. Каждый листочек был словно изумруд, каждый цветок дивно преобразился. Тщетно она кружила в пустынных дебрях, зато как воспрянула в ней надежда, когда, выползши на ровное место, она завидела вдалеке блеск, напоминающий ее собственный.

— Все же я нашла наконец себе подобных! — воскликнула змея и поспешила в ту сторону. Ползти через топкий камышник было трудно, однако ей все было нипочем, ведь она, хоть и предпочитала жить на сухих альпийских лугах, в каменных расщелинах высокогорья, охотно лакомилась пряными травками, а жажду утоляла нежной росой и свежей родниковой водой, но ради милого ее сердцу

золота и в предвкушении дивного света готова была совершить что угодно.

Змея изрядно устала, пока добралась до плавней, где весело играли наши болотные огни. На радостях она стрелою бросилась к ним и поздоровалась: шутка ли — отыскать этаких приятных родственников. Огни порхали рядом, перескакивали через нее и смеялись по своему обычаю.

— Сударыня кузина, — молвили они, — коли вы по образу своему горизонтальны, это все ж таки ничего не значит; нас ведь и роднит один только свет, вот посмотрите-ка, — тут огни, пожертвовав всей своей шириною, елико возможно вытянулись вверх и заострились, — сколь под стать нам, персонам вертикальной породы, таковая стройность линии; не прогневайтесь, любезная подруга, но какое семейство может этим похвастать? С той поры как существуют болотные огни, еще ни один не сидел и не лежал.

Змея чувствовала себя в компании этих родичей весьма неудобно, ведь чутье подсказывало ей, что, как бы высоко она ни поднимала голову, та все равно хочешь не хочешь снова опустится к земле, иначе с места не сдвинуться, и если еще недавно в темной роще она очень себе нравилась, то в присутствии этих кузенов собственный ее блеск словно бы с каждым мгновением тускнел, она даже опасалась, как бы он в конце концов вовсе не угас.

В неловкости своей она поспешно спросила, не могут ли господа кузены, часом, сообщить, откуда взялось золото, которое давеча упало к ней в расселину; сама она подозревает, что это золотой дождь и каплет он прямоком с неба. Огни прыснули со смеху и встряхнулись, рассыпав вокруг великое множество золотых. Змея стремглав кинулась за монетами и ну их поедать.

— Кушайте на здоровье, сударыня кузина, — молвили учтивые кавалеры, — мы за угощением не постоим, рады служить вам.

Они еще раз-другой встряхнулись с большим проворством, так что змея едва успевала поглощать бесценное лакомство. Сияние ее на глазах росло, и светилась она поистине чудеснейшим образом, тогда как огни изрядно отощали и уменьшились в размерах, ничуть, однако, не утратив доброго настроения.

— Я навеки у вас в долгу, — сказала змея, переведя дух после сытной трапезы, — просите что угодно; я всё сделаю, что в моих силах.

— Вот и отлично! — вскричали огни. — Сказывай, где живет прекрасная Лилия. И поскорее отведи нас к дворцу, в сад прекрасной Лилии! Мы умираем от нетерпения пасть к ее ногам!

— Этой службы, — отвечала змея с глубоким вздохом, — я вам сейчас сослужить не могу. Увы, прекрасная Лилия живет за рекой.

— За рекой! А мы-то плыли сюда, бурной

ночи не побоялись! И теперь эта жестокая река разделяет нас! Может, перевозчика покликать, вдруг дозовемся?

— Все ваши попытки будут напрасны, — сказала змея, — даже встретить вы его на этом берегу, он вас в лодку не возьмет: ему дозволено перевозить всех на этот берег и никого — на тот.

— Вот уж попали в омут с головой! А что, нет ли другого способа перебраться через реку?

— Отчего же, есть, и не один; только имися минуту не воспользуешься. Я сама могу вас переправить, господа, правда, лишь в полдневный час.

— Именно в эту пору мы до путешествий не охочи.

— Тогда можно переправиться вечером, на великановой тени.

— А как это происходит?

— Здесь неподалеку живет огромный великан; телом он вовсе немощен: руками не удержит и соломинки, на плечах не снесет и вязанки хвороста, — зато тень его куда как сильна, почитай что все может. Потому-то на восходе и на закате солнца великан особенно могуч, и вечером нужно только сесть на закорки его тени — сам он тихонько подойдет к берегу, а тень перенесет путника через реку. Ну что ж, если в полдневный час вы объявитесь вон у того лесистого мыса, где кустарник подступает прямо к воде, я сама переправлю

вас за реку и представлю прекрасной Лилии; а коли боитесь полуденного зноя, тоже не беда — наведайтесь под вечер в ту скалистую бухту, к великану, право слово, он вам не откажет.

С легким поклоном молодые кавалеры удалились, и змея нимало не огорчилась разлуке с ними, ведь ее тянуло понежиться в собственном сиянье, а вдобавок она жаждала удовлетворить любопытство, которое странным образом донимало ее уже давно.

В каменных безднах, где она частенько ползала, было одно весьма диковинное место. Конечно, ползать по этим безднам приходилось в кромешной тьме, однако осязанием она все ж таки могла различать предметы вполне отчетливо, и обычно ей всюду попадались только причудливые произведения природы: то она скользила меж зубцами крупных кристаллов, то чувствовала шершавые извивы жил самородного серебра, а бывало, и какой-нибудь драгоценный камень выносила на свет Божий. Но, к великому своему удивлению, в той подгорной полости она ощущала предметы, к которым определенно прикасалась творческая рука человека. Гладкие стены — наверх не подынешься, четкие правильные грани, стройные колонны и, что самое странное, человеческие фигуры, вокруг которых она не раз обвивалась и которые поневоле мнила сделанными из меди либо из превосходно от-

полированного мрамора. С давних пор ей хотелось, обнявши взором, сложить наконец все свои впечатления и удостовериться в том, что дотоле было лишь догадкой. Теперь она рассудила, что сумеет осиять дивное подземелье собственным светом, и чаяла сразу основательно познакомиться с этими странными предметами. Проворно устремилась она привычной дорогой и вскоре отыскала щелки, по которым забиралась в святилище.

Очутившись в том месте, змея с любопытством огляделась, и хотя ее сияние не могло осветить всех предметов округлого свода, самые ближние были все же вполне ясно различимы. С изумлением и благоговейным трепетом подняла она взор к сверкающей нише, где стояло изваяние величественного короля, все из чистого золота. Кумир был выше человеческого роста, но изображал мужчину скорее невысокого, чем крупного. Стройное тело его облекал простой плащ, волосы были перехвачены дубовым венком.

Только змея бросила взгляд на это величественное изваяние, как король заговорил, спросив ее:

— Откуда ты?

— Из расселин, где живет золото, — отозвалась змея.

— Что славнее и превыше золота? — спросил король.

— Свет, — отвечала змея.

— Что живительнее света? — опять спросил он.

— Беседа, — отвечала она.

За этими разговорами она скосила глаза в сторону и увидела в соседней нише еще один великолепный кумир. Там сидел серебряный король, высокий и видом скорее худощавый; одет он был в узорное платье, корона, пояс и скипетр украшены драгоценными камнями, лицо отмечено беспечальной горделивостью; он словно бы как раз хотел заговорить, когда темная жила, бежавшая по мраморной стене, внезапно налилась светом, распространяя приятное зарево по всему храму, и в этом зареве змея увидела третьего короля — медного исполина; увенчанный лавровым венком, он сидел, опершись на палицу, и больше походил на утес, а не на человека. Ей очень хотелось разглядеть и четвертого, который был от нее дальше всех, однако в этот миг стена раскрылась — светящаяся жила полыхнула, как молния, и пропала.

Среднего роста человек, явившийся из стены, тотчас привлек к себе внимание змей. Одет он был по-крестьянски и нес в руке небольшую лампу, спокойное пламя которой ласкало взор и которая, чудесным образом не создавая ни единой тени, озаряла весь храм.

— Отчего ты пришел, когда у нас есть свет? — спросил золотой король.

— Вы знаете, что недозволено мне освещать тьму.

— Закончится ли мое царствование? — спросил серебряный король.

— Поздно либо никогда, — отвечал старец. Зычным голосом заговорил теперь медный король:

— Когда я поднимусь?

— Скоро, — отвечал старец.

— С кем мне вступить в союз? — спросил король.

— С твоими старшими братьями, — молвил старец.

— А что будет с младшим? — продолжал король.

— Он сядет, — отвечал старец.

— Я не устал! — хриплым, прерывистым голосом вскричал четвертый король.

Пока они говорили, змея тихонько сновала по углам и закоулкам, осматривая храм, и теперь разглядывала четвертого короля. Он стоял, прислонясь к колонне, внушительный обликом, но скорее грубоватый, чем красивый. Даже и металл, из которого он был отлит, толком не поддавался определению. Если присмотреться, это была смесь из тех же трех металлов, из каких создали его братьев. Только при отливке эти вещества, похоже, сплавившись плоховато: золотые и серебряные жилки беспорядочно пронизывали медную массу, отчего вид у изваяния был неприятный.

Золотой король меж тем молвил старцу:

— Сколько тебе ведомо тайн?

— Три, — отвечал тот.

— Которая всех важнее? — спросил серебряный король.

— Явная, — ответил старец.

— Намерен ли ты открыть ее и нам? — спросил медный.

— Как только узнаю четвертую, — молвил старец.

— Мне-то что за печаль? — буркнул составной король.

— Четвертая ведома мне, — сказала змея и, приблизившись к старцу, что-то прошипела ему на ухо.

— Пора! — могучим голосом воскликнул старец.

Храм наполнился гулким эхом, металлические кумиры зазвенели, и в то же мгновение старец и змея исчезли: один стремительно спешил по скальным расселинам на запад, другая — на восток.

Проходы, которыми шел старец, за его спиною сей же час наполнялись золотом, ибо лампа его имела чудесное свойство обращать камни в золото, дерево — в серебро, мертвых зверьков — в самоцветы, а металлы — в ничто; но проявлялось это свойство, лишь когда она светила в одиночку. Если рядом был другой свет, лампа давала только яркое дивное сияние, отрадное для всего живого.

Войдя в свою хижину, что стояла на горном склоне, старец застал жену в величайшем огорчении. Она сидела у огня и безутешно плакала.

— Как я несчастна! — воскликнула она. — Недаром не хотела нынче тебя отпускать!

— Что стряслось? — спокойно спросил старец.

— Только ты ушел, — всхлипнула она, — как у порога явились два диковинных путника; по неосторожности я позволила им войти в дом, с виду-то они казались вполне учтивыми, добропорядочными господами, одеты были в легкие пламена — ни дать ни взять болотные огни; однако ж не успели войти, как тотчас беззастенчиво приступили ко мне со льстивыми речами и уж так расфамиллярничались, что стыд вспомнить.

— Да что ты, — улыбнулся муж, — господа не иначе как шутили, ведь заметили, поди, твой возраст и всерьез навряд ли пошли бы дальше обычной учтивости.

— Что возраст! Возраст! — вскричала жена. — Только и слышу про возраст! Какие мои года? Обычная учтивость! Будто я не знаю, о чем говорю. Ты вокруг-то погляди, на что похожи наши стены, погляди на старые камни, которых я уж сотню лет не видала: эти господа все золото слизнули, ты просто не поверишь, с каким проворством, и все уверяли, что оно куда вкусней обыкновенного золота. Очитивши стены, оба словно пришли в замеча-

тельное расположение духа и, надобно сказать, за короткое время сделались много больше, шире и ярче. Тогда они сызнова начали шалить, оглаживали меня, называли своею королевой, встряхивались, и кругом так и сыпались золотые; вон видишь — сверкают под лавкой. Однако ж, на беду, наш мопс проглотил несколько штук и теперь, смотри, лежит у очага мертвехонек. Горемычная животина! Прямо сердце разрывается. Я и заметила-то его, когда они уже ушли, иначе ни за что бы не обещала отдать перевозчику их долг.

— А что они задолжали? — спросил старец.

— Три капустных кочана, — отвечала жена, — три артишока и три луковицы; я обещалась, как рассветет, отнесть все это на реку.

— Что ж, сделай им такое одолжение, — сказал старец, — быть может, и они нам в свое время послужат.

— Не знаю, послужат ли, но сулить они это сулили, чуть что не клялись.

Меж тем огонь в очаге догорел, старец обильно присыпал угли золой, отгреб в сторонку блестящие золотые, и теперь его лампа опять горела в одиночку, распространяя дивное сияние, стены затянулись золотом, а мопс стал прекраснейшим ониксом, какой только возможно себе представить. Чередование коричневых и черных разводов, свойственное этому бесценному камню, превратило песика в редкостное произведение искусства.

— Возьми корзину, — молвил старец, — и поставь в нее оникс, потом разложи вокруг камня три капустных кочана, три артишока да три луковицы и неси к реке. В полдень змея доставит тебя на тот берег, к прекрасной Лилии; отдай Лилии этот оникс — от ее прикосновения он оживет, точно так же, как все живое от ее прикосновения погибает; песик станет ей верным товарищем. Скажи, пусть она не кручинится: избавление близко, великое несчастье она может полагать великим счастьем, ибо пришла пора.

Старуха собрала свою корзину и чуть свет отправилась в дорогу. Восходящее солнце ярко светило из-за реки, что блестела вдали; шагала женщина медленно, потому что корзина давила ей на голову, но дело тут было никак не в ониксе. Мертвой ноши она не чувствовала, корзина, скорее, как бы поднималась в воздух и парила у нее над головой. А вот нести свежие овощи или живого зверька было до крайности обременительно. Так она некоторое время шла в раздражении и вдруг испуганно остановилась, потому что едва не наступила на великанову тень, протянувшуюся по равнине к ее ногам. И только теперь она увидела самого громадного великана, который, искупавшись в реке, выходил на берег, и невдогад ей было, как с ним разминуться. Он же, заметив ее, стал весело с нею здороваться, а тень его мигом запустила руки в корзину. Легко и



проворно эти руки извлекли оттуда кочан, артишок и луковицу и отправили в рот великану, который засим двинулся дальше вверх по реке, освободив женщине дорогу.

Она раздумывала, не вернуться ли домой, в сад, и не заменить ли пропавшие овощи новыми, но, снедаемая этими сомнениями, продолжала идти вперед, так что вскоре очутилась на берегу. Там она долго сидела, дожидаясь перевозчика, и наконец он явился — доставил диковинного странника. Благородный красавец юноша, от которого она глаз отвести не могла, вышел из лодки.

— Что это у вас? — спросил перевозчик.

— Овощи, должок от болотных огней, — объяснила женщина и открыла корзину.

Обнаружив лишь по два овоща каждого сорта, старик рассердился и решительно заявил, что никак не может их взять. Женщина принялась горячо его упрасивать, рассказала, что ей теперь нельзя идти домой и что в дороге, которая у нее впереди, такой груз слишком обременителен. Он, однако, стоял на своем, уверяя, что от него это вовсе не зависит.

— То, что причитается мне, на девять часов должно оставить вместе, а вдобавок я не могу ничего принять, пока не отдам третью часть реке.

Долго они судили-рядили, наконец старик молвил:

— Есть одно средство. Коли вы поручитесь

перед рекою и назовете себя должницею, я возьму эти шесть плодов, хотя здесь таится некоторая опасность.

— Но ежели я сдержу слово, никакой опасности не будет?

— Ни малейшей. Опустите вашу руку в воду, — продолжал старик, — и обещайте в двадцать четыре часа возместить долг.

Старуха так и сделала, но до чего же велик был ее испуг, когда она вытащила руку из воды — черную как уголь. В сердцах она выбранила старика, причитая, что руки у нее всегда были самые что ни на есть красивые и, хотя выполняла тяжелую работу, она умела сохранить их благородную белизну и изящество. С большою досадой она рассмотрела руку и в отчаянии вскричала:

— Дело-то вовсе худо! Она вдобавок съежилась, стала куда меньше другой, я вижу!

— Сейчас это вам только мнится, — сказал старик, — но коли не сдержите слово, так и вправду может произойти. Рука станет постепенно убывать и в конце концов пропадет совсем, хотя телесного ущерба вам от этого не будет. Вы сможете делать ею все что угодно, только эту руку никто не увидит.

— Лучше бы я не могла ею пользоваться, а никто бы этого не видел, — сказала старуха, — да и не все ли равно, уж я свое слово сдержу и в скором времени избавлюсь от этой черной кожи, а заодно и от тревоги.

Затем она проворно схватила свою корзину — та сама собой поднялась в воздух и воспарила у нее над головою — и устремилась вослед юноше, который в задумчивости медленно шел по берегу. Красота его облика и необычайный убор поразили старуху до глубины души.

Грудь юноши облекал блестящий панцирь, который, однако, не стеснял движений его прекрасного тела. На плечах был накинута пурпурный плащ, каштановые кудри пышной гривой вились на обнаженной голове; солнечные лучи освещали благородное лицо и изящные стройные ноги. Босой, он спокойно шел по горячему песку, точно глубокая боль приотпугивала все внешние впечатления.

Говорливая старуха тщилась завести с ним беседу, но он отвечал вкоротке и невнятно, так что в конце концов, невзирая на прекрасные его глаза, она устала от своих напрасных попыток и распрощалась с ним, сказавши:

— Слишком уж медленно вы идете, сударь, а мне никак нельзя пропустить срок, когда можно будет по зеленой змее переправиться через реку и вручить прекрасной Лилии изысканный подарок от моего мужа.

С этими словами она поспешила прочь, а красавец юноша сей же час единым духом ожил и бросился вдогонку.

— Вы идете к прекрасной Лилии? — воскликнул он. — Тогда нам по пути. Что же за подарок вы ей несете?

— Сударь, — возразила женщина, — сам-то вы на мои вопросы почитай что не отвечали, а теперь этак бойко допытываетесь о моих секретах — негодящее это дело! Но коли вы желаете произвести обмен и поведать мне о вашей судьбе, я тоже открою вам, как обстоит со мною и моим подарком.

Скоро они пришли к согласию; и тогда женщина поверила юноше свои обстоятельства и историю собачки, дозволив при этом полюбоваться чудесным подарком.

Он тотчас вынул нерукотворный шедевр из корзины и заключил в объятия — мопс, казалось, безмятежно спал.

— Счастливое животное! — вскричал юноша. — Ее руки коснутся тебя, ты получишь от нее жизнь, тогда как живому должно бежать ее, дабы не испытать горестной судьбы. Но что я говорю — горестной! Ведь куда плачевней и страшней быть парализовану ее присутствием, чем погибнуть от ее руки! Взгляни на меня, — обратился он к старухе, — до какого жалкого состояния я дошел, в мои-то годы. Этот панцирь, который я с честью носил в сражениях, этот пурпур, который я сумел заслужить мудрым правлением, — судьба оставила их мне, панцирь как тщетное бремя, плащ как ничтожное украшение. Корона, скипетр и меч потеряны, ведь я так же наг и нищ, как любой другой из простых смертных, — ибо столь пагубно действие ее прекрасных голубых глаз, что они

отнимают силу у всех живых существ и те, кого не убьет прикосновение ее руки, вживе становятся подобны ходячим теням.

Так он долго сетовал и никоим образом не удовлетворил любопытства старухи, которой хотелось побольше доведаться не о внутренних его переживаниях, а скорее о внешних обстоятельствах. Она не узнала ни имени его отца, ни названия его королевства. А он все гладил жесткого мопса, согретого солнечными лучами и теплом юношеской груди и словно ожившего, да без устали расспрашивал о человеке с лампою, о воздействиях священного света и, похоже, воспрянул духом, ожидая от этого грядущих добрых перемен в плачевном своем состоянии.

За этими разговорами они шли дальше, и вот уж вдали завиднелась величественная арка моста, перекинувшаяся с одного берега на другой и дивно блиставшая в сиянье солнца. Оба глазам своим не поверили, ибо никогда прежде не видели эту постройку в таком великолепии.

— Как! — вскричал принц. — Разве ж этот мост был недостаточно прекрасен, когда высился перед нами словно воздвигнутый из яшмы и зеленого кварца? Теперь он весь, в прелестном многообразии узоров, составлен из смарагда, хризопраза и хризолита — ступить боязно, право слово!

Им неизвестно было о перемене, проис-

шедшей со змеею, а ведь именно змея каждый полдень дерзко выгибалась над рекою изящным мостом. Путники ступили на него с почтительным трепетом и в молчанье зашагали к другому берегу.

Едва они очутились на суше, как мост дрогнул, заколебался и, придя в движение, скоро коснулся поверхности воды, — и вот уж зеленая змея в собственном своем обличье скользнула по земле вдогонку нашим путникам. Не успели те поблагодарить за дозволение пройти по ее спине через реку, как заметили, что, кроме них троих, в компании, похоже, присутствуют еще несколько персон, хотя глаза никого не различали. Обок послышалось шипение, на которое змея сей же час прошипела что-то в ответ; напрягши слух, путники наконец разобрали следующее.

— Для начала, — наперерыв заговорили чьи-то голоса, — мы инкогнито опознаемся в парке прекрасной Лилии, а с наступлением ночи, когда мы примем мало-мальски презентабельный вид, очень просим представить нас этой совершенной красавице. Вы отыщете нас на берегу большого озера.

— Быть по сему, — ответила змея, и легкий шипящий звук растаял в воздухе.

Затем наши путники посоветовались, в каком порядке они предстанут перед красавицей; ведь обретаться подле нее могло любое количество особ, однако ж приходиться и ухо-

дить стоило лишь поодиночке, а не то испытаешь ощутимую боль.

Женщина с превращенной собакой в корзине первая вошла в сад и направилась к своей покровительнице, благо отыскать ее не составляло труда: она как раз в это время пела, подыгрывая себе на арфе; прелестные звуки вначале растеклись кругами на поверхности спокойного озера, потом легким дуновением пробежали по траве и кустам. На укрытой со всех сторон зеленой лужайке, под сенью пышной купы деревьев, сидела она и с первого же взгляда вновь приковала к себе взор, слух и сердце старухи, которая в восхищении приблизилась к ней и мысленно побожилась, что в ее отсутствие красавица лишь стала еще прекраснее. Добрая женщина уже издалека обратилась к милой девушке со словами хвалы и приветия:

— Какое счастье — смотреть на вас, каким небесным блаженством полнится все окрест от вашего присутствия! Как искусительно льнет к вашим коленам арфа, как ласково обнимают ее ваши руки, а она словно бы жаждет припасть к вашей груди и так нежно звучит под вашими тонкими пальчиками! Трижды счастлив тот юноша, что сумеет занять ее место!

За этими речами она подошла ближе, прекрасная Лилия подняла глаза, уронила руки и молвила:

— Не сокрушай меня неурочною похвалой, от этого я лишь сильнее чувствую мое несчастье. Посмотри, вот здесь, у ног моих, мертвая лежит бедняжка канарейка, которая в иное время так сладостно вторила моим мелодиям; она привыкла сидеть на моей арфе и хорошо затвердила, что касаться до меня нельзя; и вот нынче, когда я, освежившись сном, заиграла безмятежную утреннюю песнь, а маленькая моя певунья как никогда весело выводила свои ладные трели, над моей головою стремительно промчался ястреб; в испуге бедная малютка припала к моей груди, и в тот же миг я ощутила последний трепет отлетающей жизни. Сраженный моим взором, разбойник бессильно влачится вон там, у воды, но много ли мне проку от того, что он наказан? Моя любимица мертва, и могила ее лишь добавит пышности печальным кущам моего сада.

— О, крепитесь, прекрасная Лилия! — воскликнула старуха, смахивая слезинку, набравшую на глаза от повести злосчастной девушки. — Возьмите себя в руки! Старик мой велел вам сказать, чтобы вы не кручинились и полагали великое несчастье знаком великого счастья, ибо пришла пора. Воистину, — продолжала она, — все на свете перемешалось, диковинные дела творятся. Вот взгляните на мою руку — совсем черная стала! Ахти мне, она ведь вправду сильно уменьшилась, надобно спешить, пока вовсе не пропала! Зачем я

согласилась услужить болотным огням, зачем встретила великана, зачем окунула руку в воду? Не дадите ли мне кочан капусты, артишок да луковицу? Я отнесу их реке, и рука моя станет белой, как раньше, почитай что с вашей сравниться сможет.

— Капустные кочаны и лук ты, пожалуй, еще сумеешь найти, но артишоков не сыщешь! Растения в моем большом саду не цветут и не плодоносят, зато стоит мне сломить сухую веточку и посадить ее над гробом любимого существа, как она тотчас покрывается зеленью и бурно идет в рост. Увы, все эти купы деревьев, кусты, рощи выросли у меня на глазах. И зонтики пиний, и обелиски кипарисов, и великаны дубы, и огромные буки — все это скорбная память, недавние сухие прутья, которые я собственной рукою воткнула в бесплодную почву.

Старуха толком не слушала эти речи, не отводя глаз от своей руки, которая здесь, подле прекрасной Лилии, словно бы делалась все чернее и с каждой минутой уменьшалась. Она хотела уже взять свою корзину и поспешить прочь, как вдруг смекнула, что о главном-то забыла. Сей же час она достала превращенную собачку и посадила ее в траву недалеко от кравицы.

— Муж мой, — объяснила она, — шлет вам эту памятку. Ведь своим прикосновением вы сумеете оживить бесценный камень. Славный

привязчивый песик, вестимо дело, будет вам большою радостью, и только мысль, что владеете им вы, рассеивает мою печаль, вызванную его утратой.

Прекрасная Лилия посмотрела на славного песика с утехой и как будто бы с удивлением.

— Много нынче сходится знаков, которые дразнят меня надеждой, — сказала она, — но ах! уж не пустая ли фантазия нашей природы прельщает нас верить в скорое блаженство именно среди самых черных несчастий?

Ну что мне в том, что гибнет птица,  
Что длань подруги верная черна?  
Вот ониксовый мопс — ничто с ним не сравнится,  
Не лампою ли весть мне подана?

Вдали я ныне от всего земного,  
Вся жизнь моя печальна и пуста.  
Ни храма нет у берега речного,  
Ни над рекой — высокого моста\*.

Добрая женщина нетерпеливо дослушала эту песню, которую прекрасная Лилия сопровождала приятными звуками арфы и которая любого другого привела бы в восхищение. Только она хотела распрощаться, как возникла новая задержка: в сад явилась зеленая змея. Она слышала последние строки песни и не за-

\* Перевод Е. Витковского

медтила сию же минуту пылко ободрить прекрасную Лилию.

— Пророчество о мосте сбылось! — воскликнула змея. — Спросите же эту добрую женщину, сколь великолепна теперь его арка. Что прежде было непрозрачной яшмою и самым обыкновенным кварцем-праземом, который едва пропускает свет разве только по краям, ныне обернулось прозрачной драгоценностью. В мире не сыщешь таких чистых бериллов и таких дивных смарагдов.

— Поздравляю вас, — молвила Лилия, — но не обессудьте, я все ж таки думаю, пророчество еще не исполнилось. По высокой арке вашего моста могут пройти лишь пешие путники, а нам сулили, что по ней в обе стороны потоком хлынут и конные, и пешие, и повозки, и экипажи. Разве не упомянуто в пророчестве о высоких опорах, что поднимутся прямо из речных вод?

Старуха, все это время неотрывно смотревшая на свою руку, улучила минуту и откланялась.

— Погодите еще немного, — сказала прекрасная Лилия, — возьмите с собою мою бедную канарейку. Пусть лампа превратит ее в чудный топаз, прикосновением я оживлю камень, и вместе с вашим мопсом пташка эта станет для меня лучшим развлечением. Но спешите изо всех сил, потому что с заходом солнца мерзкий тлен охватит бедняжку и на-

веки разрушит прекрасную гармонию ее облика.

Старуха обернула крохотное тельце мягкими листьями, положила в корзину и торопливо пошла прочь.

— Как бы там ни было, — молвила змея, продолжая прерванный разговор, — храм воздвигнут.

— Однако на речном берегу его покуда нет, — возразила красавица.

— Он еще покоится в земных глубинах, — сказала змея, — я видела королей и говорила с ними.

— Когда же они поднимутся? — спросила Лилия.

И змея отвечала:

— Я слыхала, как в святилище прозвучали великие слова: пришла пора.

Черты красавицы озарились светлой радостью.

— Нынче я уже второй раз слышу эти чудесные слова; когда же настанет обетованный день и я услышу их трижды?

Лилия встала, и в тот же миг из зарослей кустарника выступила обворожительная девушка, которая приняла от нее арфу. Следом явилась вторая, она подобрала складное, украшенное резьбою креслице из слоновой кости, на котором сидела красавица, и взяла под мышку тканную серебром подушечку. Наконец вышла третья, что несла большой, расши-

тый жемчугом зонтик, и остановилась в ожидании: не понадобится ли она Лилии на прогулке? Несказанно красивы и обворожительны были эти три девушки, и все же они лишь оттеняли красоту Лилии, ибо всяк волей-неволей признавал, что с нею им никак не сравниться.

Между тем прекрасная Лилия участливо разглядывала чудесного мопса. Но вот она, склонясь долу, тронула его рукою — и в тот же миг песик вскочил на ноги. Он весело осмотрелся, резво метнулся сначала в одну сторону, потом в другую и наконец поспешил к своей благодетельнице, чтобы дружелюбнейшим образом поздороваться с нею.

Прекрасная девушка взяла мопса на руки и прижала к себе.

— Пусть ты холоден, — воскликнула она, — и жизнь твоя наполовину призрачна, я все равно очень тебе рада; я буду нежно любить тебя, и весело с тобою забавляться, и ласково тебя гладить, и крепко прижимать к сердцу.

С этими словами она отпустила песика, отогнала от себя, подозвала вновь и так мило с ним забавлялась, так шаловливо, так невинно играла с ним на траве в пятнашки, что зрители с новым восторгом любовались ее весельем и невольно разделяли его точно так же, как совсем недавно разделяли ее скорбь.

Эта живая радость, эти грациозные забавы были прерваны появлением печального юно-

ши. Он вступил на поляну таким же, каким мы успели его узнать, казалось только, дневной жар еще больше истомил его, и в присутствии возлюбленной он с каждой минутой делался все бледнее. На руке у него, сложив крылья, спокойно, будто голубь, сидел ястреб.

— Нехорошо с твоей стороны, — вскричала Лилия, завидев его, — приносить ко мне эту мерзкую тварь, это чудовище, которое убило сегодня мою маленькую певунью.

— Не брани злополучную птицу! — отвечал юноша. — Скорее уж, обвиняй себя самое и судьбу и позволь мне вместе с товарищем невзгод моих побыть в твоём обществе.

Мопс тем временем без устали дразнил красавицу, она же отвечала прозрачному любимцу в высшей степени благоприязненно: то хлопала в ладоши, чтобы спугнуть его, то отбегала, чтобы он вновь устремился вдогонку; пыталась поймать, когда он бросался наутек, и гнала прочь, когда он норовил прильнуть к ней. Юноша наблюдал эту сцену безмолвно и с растущей досадою, но в конце концов, когда Лилия подхватила плюгавого мопса, который вызывал у него глубочайшее отвращение, прижала к белоснежной груди и небесными своими устами запечатлела на черной мордочке поцелуй, терпение его лопнуло, и в отчаянии он вскричал:

— Ужели я, быть может навеки обреченный жить с тобою врозь, потерявший через

тебя все, даже самого себя, — ужели я воочию вижу, что столь противоестественный урод способен радовать тебя, снискать твою любовь и наслаждаться твоими объятиями! Уже ли мне еще долго странствовать печальной стезею взад и вперед, через реку и обратно? Нет, в моей груди уцелела еще искра былого молодечества, и вот сейчас она в последний раз вспыхнет ярким пламенем! Если камням дозволено покоиться на твоей груди, пусть и я стану камнем; если прикосновение твое убивает, что ж, я хочу умереть от твоих рук.

С этими словами юноша сделал резкое движение — ястреб взмыл в воздух, сам же он ринулся к красавице; она простерла руки, желая помешать ему, и тем раньше до него дотронулась. Сознание покинуло юношу, и в ужасе Лилия ощутила на груди своей прекрасный гнет. С криком она отшатнулась, и милый юноша бездыханный упал наземь.

Ах, какая жестокая беда! Прелестная Лилия стояла недвижно, устремив оцепенелый взор на бездыханное тело. Сердце у нее оборвалось, и в глазах не было ни слезинки. Тщетно веселый мопс пытался расшевелить девушку — вместе с любимым другом для нее умер весь мир. В безмолвном своем отчаянии она не искала помощи, ибо ничто не могло ей помочь.

Змея, напротив, вдруг зашевелилась, и всяма шустро; похоже, она хлопотала о подмоге,

и впрямь особенные ее движения служили тому, чтобы хоть на время отвратить близкие и ужасные последствия несчастья. Просторным кольцом свернулась змея вокруг безжизненного тела, схватила кончик своего хвоста зубами и так замерла.

Немного спустя одна из красивых прислужниц подошла к Лилии и мягко, ласково усадила прекрасную девушку в креслице из слоновой кости; затем в скором времени явилась вторая — с тонкой огненно-алой фатою, которой более украсила, нежели покрыла голову госпожи; третья подала Лилии арфу, и едва та притянула к себе дивный инструмент и пробежала пальцами по струнам, как первая принесла блестящее круглое зеркало, стала против красавицы и, привлекая ее внимание, представила ее взору образ, прелестней которого не было во всем свете. Боль еще добавила ей красоты, фата — очарования, арфа — утонченности, и, пылко надеясь увидеть ее плачевные обстоятельства переменившимися, всяк не менее пылко желал навеки сохранить ее облик таким, как теперь.

Безмолвно глядя в зеркало, она то извлекала из струн томительные звуки, то боль ее словно разгоралась сильнее, и струны невольно вторили ее жалобам; и раз и другой она размыкала губы, пытаясь запеть, но голос не слушался; в скором времени, однако, боль ее нашла выход в слезах, две девушки, устремив-



шись на помощь, подхватили красавицу в объятия, арфа покачнулась — третья камеристка едва успела поймать инструмент и отнести в сторонку.

— Кто приведет к нам человека с лампою, пока не зашло солнце? — тихо, но внятно прошипела змея; девушки посмотрели друг на друга, а Лилия заплакала еще горше. В это мгновение на лужайке вновь появилась женщина с корзиной.

— Все пропало, и я теперь калека! — с трудом переводя дух, вскричала она. — Гляньте, рука-то моя почти совершенно исчезла! И перевозчик, и великан отказались переправить меня на тот берег, ведь я не вернула еще реке мой долг; напрасно я предлагала сотню капустных кочанов и сотню луковиц — нужно ровно три плода, ни больше, ни меньше, а вот артишока в здешних краях не найти!

— Забудьте о своей беде, — молвила змея, — и постарайтесь помочь нашей: быть может, от этого и вам придет помощь. Отыщите болотных огней, и чем скорее, тем лучше. Увидеть их трудновато, слишком уж светло, но вдруг вы услышите их смешки и шорох. Если они поторопятся, великан еще сумеет отнести их за реку, и они найдут человека с лампой и пришлют его сюда.

Женщина со всех ног поспешила на поиски, а змея и Лилия стали дожидаться ее мужа, и обе явно горели нетерпением. Увы, луч закат-

ного солнца уже позолотил верхушку самого высокого дерева в густом саду, и длинные тени протянулись по озеру и по лужайке; змея нетерпеливо ворочалась, Лилия плакала навзрыд.

В отчаянии змея озиралась по сторонам, опасаясь, что солнце вот-вот зайдет, тлен проникнет в магический круг и яростно бросится на прекрасного юношу. Наконец она приметилась высоко в поднебесье ястреба, перья у него на груди алели багрянцем в последних солнечных лучах. Змея затрепетала от радости — добрый знак! — и не обманулась, ибо в скором времени через озеро, будто на коньках, заскользил человек с лампою.

Змея с места не тронулась, так и лежала кольцом, а Лилия встала и окликнула его:

— Какой добрый дух послал тебя нам в то самое мгновение, когда в тебе столь великая нужда и мы ждем тебя не дождемся?

— Дух моей лампы, — ответил старец, — велел мне спешить, а ястреб привел сюда. Лампа потрескивает и сыплет искрами, когда во мне бывает нужда, я же лишь высматриваю в поднебесье путеводный знак: птица или падучая звезда указывают, куда мне должно направить свои стопы. Будь покойна, красавица! Не знаю, сумею ли я помочь; один человек не помощник, другое дело тот, кто во благовременье объединится со многими. Надобно ждать и надеяться. Не размыкай твое кольцо, — про-

должал он, поверотаясь к змее, сел подле нее на пригорок и осветил мертвое тело. — Принесите сюда же милую канарейку и положите ее в круг!

Девушки вынули крохотный трупик из старухиной корзины, что стояла в траве, и исполнили приказание.

Солнце между тем зашло, и, по мере того как сгущалась тьма, не только змея и лампа по своему обыкновению наполнились ярким блеском, но и фата прекрасной Лилии мягко засветилась, с бесконечною прелестью осеняя нежным заревом ее бледные ланиты и белое платье. Все нет-нет да и поглядывали друг на друга в спокойном раздумье, тревога и печаль поутихли, отступив перед верною надеждой.

Потому-то не без приятности было встречено возвращение старой женщины в обществе резвых огней, которые хоть и успели весьма поиздержаться — оба вновь до крайности отощали, — но тем учтивее расшаркались перед принцессою и прочими особами женского полу. С величайшим апломбом и живостью они изрекали вполне будничные вещи, особенно же их восхитило очарование, которым сияющая фата обвевала Лилию и ее прислужниц. Камеристки скромно потупили взор, от дифирамбов их красоте они и вправду очень покойны — кроме старухи. Не слушая уверенный мужа, что, будучи освещена лампою, рука

ее уменьшиться никак не может, она несколько раз повторила, что, если этак пойдет дальше, благородная конечность еще до полуночи исчезнет без следа.

Старец с лампой внимательно слушал болтовню болотных огней и радовался, что Лилию эти разговоры отвлекли и развеселили. Никто и не заметил, как настала полночь. Старец посмотрел на звезды и повел такую речь:

— Благословен час, собравший нас вместе; пусть каждый свершит свое дело, каждый исполнит свой долг, и в общем нашем счастье растворятся личные невзгоды, как в общей беде гибнут личные радости.

Едва он умолк, поднялся невообразимый шум, ибо все присутствующие заговорили разом, громко рассуждая о том, что им надобно делать; только три девушки молчали: одна уснула подле арфы, вторая — подле зонтика, третья — подле креслица, но корить их было не за что, время-то позднее. После нескольких пробных учтивостей, адресованных также и камеристкам, огненные кавалеры увивались уже только вокруг Лилии как самой прекрасной.

— Возьми зеркало, — молвил старец ястребу, — и первым лучом солнца освети спящих дев, разбуди их отраженьем горнего света.

Змея зашевелилась, разомкнула кольцо и медленно, широкими зигзагами поползла к реке. Болотные огни степенно двинулись ей

вослед, и вид у них был самый что ни на есть серьезный. Старуха и ее муж подхватили корзину, мягкого свечения которой никто до сих пор не замечал, и принялись тянуть каждый в свою сторону, а корзина росла и блистала все ярче; затем они поместили в нее тело юноши и на грудь ему положили канарейку; корзина поднялась в воздух и, как всегда, повисла над головой старухи, и они зашагали вдогонку огням. Прекрасная Лилия с мопсом на руках шла за старухой, человек с лампою замыкал процессию, и вся местность диковиннейшим образом осветилась от этого множества огней.

Но, подойдя к реке, наше общество с немалым восторгом увидало перекинувшуюся с одного берега на другой великолепную арку — добротка змея устроила для них сияющую дорогу. Если в дневную пору взор пленяли прозрачные камни, из которых по видимости слагался мост, то ночью в изумление повергала светозарная его краса. Поверху блистающая дуга четко вырезывалась на темном небе, а пониже то и дело пробегали к центру игривые лучи, являя очевидцу подвижную крепость постройки. Процессия медленно шла через мост, и перевозчик, который выглянул из своей отдаленной хижины, с удивлением наблюдал блистающую дугу и странные огни, что плыли по ней.

Едва они добрались до противоположного берега, дуга по своему обыкновению затрепетала и начала как бы волнами снижаться к во-

де. Немного спустя змея выползла на сушу, корзина опустилась наземь, и змея вновь заключила ее в кольцо. Старец склонился к змее и молвил:

— Каково же твое решение?

— Я сама пожертвую собой, прежде чем меня принесут в жертву, — отвечала змея, — обещаю, что ни камешка не оставишь на берегу.

Старец обещал, а засим обратился к прекрасной Лилии:

— Тронь змею левой рукой, а возлюбленного — правой.

Лилия преклонила колена и коснулась до змее и тела. В тот же миг юноша возвратился к жизни, пошевельнулся в корзине, приподнялся и сел; Лилия хотела его обнять, но старец удержал ее, помог юноше встать и выйти из корзины и из круга.

Юноша стоял, и канарейка трепыхала крылышками у него на плече; оба вновь были живы, только душа покуда не вернулась: глаза прекрасного принца были открыты — и не видели, ибо взор его оставался безучастен; а когда всеобщее удивление мало-помалу утихло, все вдруг заметили, как дивно переменялась змея. Ее красивое гибкое тело распалось на многие тысячи блистающих драгоценных камней; старуха, потянувшись к корзине, неосторожно задела за них — и змеиного образа как не бывало, только прекрасное кольцо блистающих камней лежало в траве.

Старец тотчас взялся собирать камни в корзину, а жена стала ему помогать. После они отнесли корзину к берегу, на высокое место, и старец высыпал все ее содержимое в реку, причем и красавица, и жена его смотрели на это с неудовольствием, потому что не прочь были взять себе по камешку. Точно искристые блистающие звезды, плыли камни с волнами, и не различить, то ли они затерялись вдали, то ли ушли на дно.

— Судари мои, — почтительно обратился старец к болотным огням, — теперь я укажу вам дорогу и отворю ход, а вы сослужите нам величайшую службу, коли отомкнете врата святилища, ибо на сей раз нет туда иного пути и, кроме вас, никто эти врата отпереть не может.

Болотные огни чинно поклонились и отошли в сторону. Старец с лампою первым шагнул в скалу, что отверзлась пред ним; следом, будто механическая кукла, шел юноша; робко и боязливо в некотором отдалении держалась Лилия; старуха никак не хотела отстать и тянула вперед руку, чтобы свет мужниной лампы мог ее освещать. Болотные огни замыкали шествие, склонив друг к другу свои верхушки и словно беседуя.

Путь был недалекий, скоро они очутились перед большими медными воротами, створки которых были заперты на золотой замок. Старец сей же час подозвал огней, а те без долгих

разговоров деловито убрали своими остренькими язычками и замок, и петли.

Гулко дязгнула медь, когда ворота распахнулись и в сиянии болотных огней взорам предстало святилище и величавые изваяния королей. Каждый склонился перед почтенными властителями, в особенности болотные огни не скупилась на вычурные поклоны.

После некоторого молчания золотой король осведомился:

— Откуда вы пришли?

— Из широкого мира, — отвечал старец.

— Куда держите путь? — спросил серебряный король.

— В широкий мир, — отвечал старец.

— Что вам надобно здесь? — спросил медный король.

— Стать вашею свитой, — отвечал старец.

Составной король тоже хотел было заговорить, но тут золотой обратился к огням, подошедшим к нему очень уж близко:

— Отступите от меня, мое золото не про вас.

Тогда они поворотились к серебряному и прильнули к нему, дивно озаряя его одежды желтоватым своим отблеском.

— Добро пожаловать, — молвил он, — однако же я вас не напитаю; утолите голод в ином месте и подарите мне ваш свет.

Огни удалились и, минуя медного короля, который их как будто и не заметил, шмыгнули к составному.

— Кто будет властвовать миром? — ломким голосом вскричал этот король.

— Тот, кто стоит на своих ногах, — ответил старец.

— Выходит, речь обо мне! — воскликнул составной король.

— Скоро мы это узнаем, — молвил старец, — ибо пришла пора.

Прекрасная Лилия кинулась старцу на шею и от всего сердца расцеловала.

— Святой отец, — сказала она, — тысячу раз спасибо; вот и в третий раз услышала я судьбоносные слова.

Только она это произнесла, как поневоле ухватилась за него еще крепче, потому что земля под ногами у них заколебалась; старуха и юноша тоже поддерживали друг друга, лишь болотные огни ничего не замечали.

Вне всякого сомнения, храм двигался, точно корабль, что, поднявши якоря, плавно идет к выходу из гавани; казалось, земные глубины раскрываются, пропуская его. Нигде он не застревал, ни одна скала ему не препятствовала.

Секунду-другую сквозь отверстие в куполе словно бы моросил мелкий дождь; старец крепче прижал к себе прекрасную Лилию и молвил:

— Мы под рекою и скоро достигнем цели.

Немного погодя им почудилось, будто они стоят на месте, но нет: храм поднимался.

Странный тяжкий гул раскатился над голо-

вою. В купольное отверстие начали с грохотом, в беспорядке просовываться какие-то доски и балки. Лилия и старуха отскочили в сторону, старец с лампою схватил за плечо юношу, но с места не тронулся. Хижина перевозчика — поднимаясь, храм отделил ее от почвы и принял в себя — мало-помалу провалилась внутрь, накрыв юношу и старца.

Женщины громко вскрикнули, а храм содрогнулся, точно корабль, неожиданно прибывший к берегу. В сумраке они боязливо обошли вокруг хижины — дверь была заперта, на стук никто не отозвался. Они постучали сильнее и немало удивились, когда дерево вдруг ответило звоном. Силою лампы, что светила в узилище, хижина превратилась в серебро. В скором времени ее даже с виду было не узнать — отринув случайные формы досок, подпорок и балок, благородный металл воздвигся великолепной чеканной постройкою. И теперь посредине большого храма стояло дивной красоты маленькое святилище, либо, если угодно, алтарь, достойный этого храма.

Поднявшись по внутренней лестнице, благородный юноша выступил на вершину алтаря — старец с лампою светил ему, а второй, в коротком белом одеянии, с серебряным веслом в руке, как бы поддерживал его; в челошке с веслом все тотчас узнали перевозчика, давнего обитателя преобразженной лачуги.

Прекрасная Лилия взошла на алтарь по на-

ружным ступеням, но покамест ей было велено держаться поодаль от возлюбленного. Старуха, чья рука в отсутствие лампы все таяла и таяла, жалобно вскричала:

— Ужели не минует меня злой рок? Ужели при стольких-то чудесах мою руку никаким чудом не спасти?

Муж ее указал на распахнутые ворота и молвил:

— Смотри, день занимается, ступай скорее искупайся в реке.

— Вот так совет! — воскликнула она. — Да я, поди, целиком почернею и вовсе исчезну, ведь долг мой еще не уплачен!

— Иди, — молвил старец, — и сделай, как я сказал! Все долги погашены.

Старуха поспешила прочь, и в тот же миг венец купола озарился светом восходящего солнца, старец стал между юношей и девой и громко возгласил:

— Числом три те, что владычествуют на земле, — мудрость, блеск красоты и сила.

С первым словом поднялся золотой король, со вторым — серебряный, с третьим — неспешно встал медный, а составной король вдруг неловко сел.

При всей торжественности минуты те, кто видел его, еле удержались от смеха, потому что он не сидел, и не лежал, и никуда не прислонялся, а просто оплыл бесформенной грудой.

Болотные огни, до той поры хлопотавшие подле него, отошли в сторону; хотя и бледные в утреннем свете, все ж таки они вновь казались упитанными и пламенели на славу — ведь до самого нутра ловко вылизали своими острыми язычками золотые прожилки огромного истукана. Возникшие от этого разнообразные полости некоторое время оставались открыты, и фигура сохраняла прежнюю форму. Но когда и тончайшие прожилочки были высосаны, полости вмиг наглухо закрылись, и, на беду, как раз в тех местах, которым не положено менять свой вид, когда человек садится, а вот суставы, которым, напротив, положено гнуться, гибкости не обрели. Кому было не до смеху, тот поневоле смотрел в сторону — ведь потерявшее форму изваяние, похожее на уродливую глыбу, вызывало отвращение.

Теперь старец с лампой повел красавца юношу, взор которого по-прежнему оставался неподвижен, с алтаря вниз и напрямиком к медному королю. У ног царственного властителя лежал в медных ножнах меч. И юноша препоясался этим мечом.

— Меч ошую, десница свободна! — вскричал могучий король.

Затем они подошли к серебряному, который склонил к юноше свой скипетр. Юноша взял его левой рукою, а король молвил благожелательным голосом:

— Паси овец своих.

Когда же они приблизились к золотому королю, тот, как бы даруя свое отчее благословение, возложил на голову юноши дубовый венок и произнес:

— Познай высочайшее!

Все это время старец пристально наблюдал за юношей. Когда он препоясался мечом, грудь его расправилась, плечи напряглись, поступь обрела твердость; когда он взял скипетр, сила эта словно бы укротилась, и все же какое-то неизъяснимое волшебство еще добавило ей могущества; а когда его кудри украсил дубовый венок, черты лица ожили, очи заблестали неизъяснимым светом духовности, и первое слово, слетевшее с его уст, было — *Лилия*.

— Милая Лилия! — воскликнул он, поспешая к ней по серебряным ступеням, ибо она смотрела на происходящее с ним, стоя у зубцов алтарной кровли. — Милая Лилия! Может ли мужчина, наделенный всем, пожелать для себя что-то более драгоценное, нежели та невинность и тихая любовь, какую дарит меня твоя душа? О друг мой, — продолжал он, оборотясь к старцу и глядя на три священных кумира, — славно и надежно царство наших отцов, но ты запомнил четвертую силу, которая издревле куда более всеохватно и уверенно властвует миром, — силу любви.

С этими словами он бросился на шею прекрасной девушке; она откинула фату, и ланиты ее зарделись дивным немеркнущим румянцем.

В ответ старец с улыбкой молвил:

— Любовь не властвует, но созидает, а это много больше.

За всеми этими торжественными церемониями, счастьем, восторгом никто и не заметил, что день полностью вступил в свои права, и только теперь, кинув взгляд в распахнутые ворота, честная компания вдруг увидела совершенно неожиданные предметы. Перед ними открылся большой, окруженный колоннадой двор, а дальше — длинный и роскошный мост, множеством арок протянувшийся через реку; с обеих сторон его были устроены удобные, пышно разукрашенные аркады для пешеходов, которых набралось уже видимо-невидимо — тысячи и тысячи сновали туда-сюда. Широкая проезжая дорога посередине кишела стадами коров и овец, мулами, всадниками, каретами и повозками: нисколько не мешая друг другу, они потоком текли в обоих направлениях. Все, похоже, изумлялись удобству и роскоши, а новый король с супругой были так же восхищены движением и оживленностью этих людских толп, как и счастливы взаимной любовью.

— Помни о змее, — сказал человек с лампой, — ты обязан ей жизнью, а твои народы — мостом, благодаря которому здешние берега только и оживут, ставши подлинно обитаемым краем. Плавучие блистающие камни, останки ее принесенного в жертву тела,

обратились в устои этого великолепного моста; на них она воздвигла себя и так пребудет век.

Они хотели было приступить к нему за объяснением чудесной тайны, но тут в ворота храма вошли четыре прекрасные девушки. По арфе, зонтику и складному креслицу все тотчас узнали камеристок Лилии; четвертой же была незнакомка, еще более прекрасная, нежели эти три; она резво, в точности будто их сестра, поспешила вместе с ними к серебряным ступеням и поднялась наверх.

— Ну, впредь ты не станешь брать мои слова под сомнение, милая жена? — сказал этой красавице человек с лампой. — Счастье улыбнулось тебе, как улыбнется всякому существу, что искупается этим ранним утром в реке!

Помолодевшая и похорошевшая старуха, от давнего облика которой и следа не осталось, обвила человека с лампой своими проворными юными руками, и он воспринял ее ласки вполне благосклонно, хотя и обронил с усмешкой:

— Коли я слишком для тебя стар, можешь выбрать нынче другого супруга; с сегодняшнего дня ни один из прежних браков не имеет силы, ежели не будет скреплен вновь.

— Разве тебе неизвестно, — отвечала она, — что и ты сделался моложе?

— Отрадно представлять в твоих юных очах бравым юношею; что ж, я снова принимаю

твою руку и охотно шагну с тобою в следующее тысячелетие.

Королева ласково встретила новую подругу и вместе с нею и прочими наперсницами спустилась внутрь алтаря, тогда как король в обществе двух своих спутников глядел на мост, зорко наблюдая за людской суетой.

Но недолго он оставался убогатворен, ибо увидел предмет, который на мгновение вызвал у него досаду. Огромный великан, похоже не вполне еще пробудившийся от утреннего сна, пошатываясь брел по мосту и производил там великий переполох. Как обычно, поднялся он совершенно заспанный и решил выкупаться в знакомой речной бухте, однако, обнаружив на месте оной твердую землю, затопал по широкой дороге через мост. Хотя он самым неуклюжим образом мешался среди людей и животных, присутствие его повергало всех в изумление, но никем не ощущалось, а вот когда солнечный луч попал ему в глаза и он, чтобы протереть их, поднял руки, тень громадных его кулаков с такою силой да так неловко заворочалась позади, в толпе, что люди и животные во множестве падали, калечились и грозили свалиться в воду.

Увидев это бесчинство, король невольно потянулся к мечу, но сей же час опаматовался и спокойно устремил взор сначала на свой скипетр, потом на лампу и весло своих товарищей.



— Я догадываюсь, о чем ты думаешь, — молвил человек с лампой, — однако ж и мы, и наше могущество бессильны перед этим бесильным. Будь покоен! Он вредит в последний раз, и, на счастье, тень его обращена не в нашу сторону.

Великан меж тем приближался; дивясь всему, что видели его глаза, он опустил руки, вреда никому больше не причинял и, наконец, с раскрытым от удивления ртом вошел во двор храма.

Направился он напрямик к двери святилища — и вдруг посредине двора замер как вкопанный, превратился в огромное изваяние из красного полированного камня, и тень его указывала время на круглом, выложенном из камня циферблате, в центре которого он стоял, только вместо цифр там были чудесные символические картины.

Немало обрадовался король, видя, что тень гиганта приставлена к полезному делу; немало удивилась королева, когда в роскошном наряде опять вошла со своими камеристками на кровлю алтаря и заметила необычайную статую, которая почти целиком заслоняла вид из храма на мост.

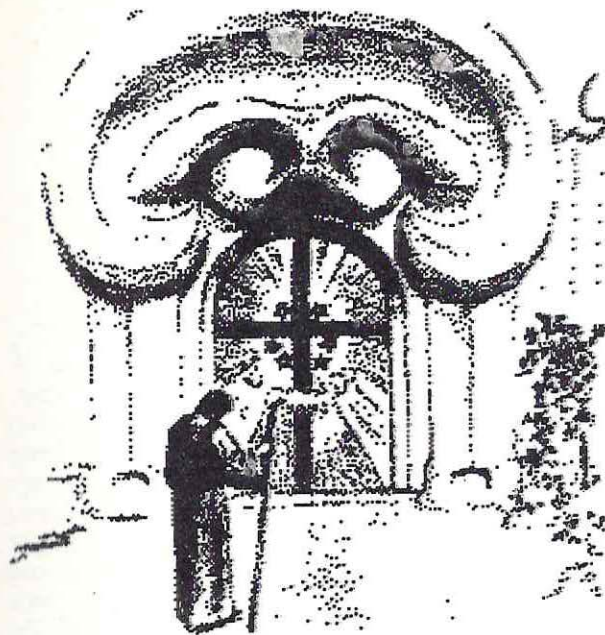
Тем временем, поскольку великан более не шевелился, во двор хлынула масса народу и обступила гиганта, дивясь его преобразению. Затем толпа оборотилась к храму, который словно только теперь и увидела, и повалила в ворота.

В этот миг ястреб с зеркалом, паривший в поднебесье над храмом, поймал солнечный свет и направил его отражение на группу, что стояла на алтаре. Король, королева и их свита явились под сумеречным сводом храма озаренные горным блеском — и народ пал ниц. Когда же все вновь пришли в себя и стали на ноги, король и свита его уже спустились внутрь алтаря, чтобы тайными чертогами поспешить во дворец, и люди, с любопытством озираясь по сторонам, разбрелись по святилищу. Удивленно и почтительно разглядывали они трех королей, что гордо стояли перед ними, но паче всего им хотелось узнать, что за глыба спрятана под ковром в четвертой нише, ведь чья-то несомненно доброжелательная скромность набросила на рухнувшего короля великолепный покров, сквозь который не проникнет ни один взор и который не дерзнет поднять ни одна рука.

Люди в храме так бы и продолжали без устали смотреть и восхищаться, а поскольку их все прибывало, в конце концов передавали бы друг друга, если б их внимание не было вновь привлечено к большому двору.

Нежданно-негаданно, точно из воздуха, на мраморные плиты посыпались звонкие золотые монеты, ближайшие зеваки кинулись их подбирать, а чудо меж тем повторялось — то в одном месте, то в другом. Понятное дело, это болотные огни решили напоследок еще поза-

бавиться и веселю расточали золото рухнувшего короля. Народ еще некоторое время алчно метался туда-сюда, напирал и устраивал толчею, даже когда золотые сыпаться перестали. Но мало-помалу все разошлись, отправились своей дорогой, мост же по сей день кишит странниками, а в храме тьма-тьмущая людей, как нигде на всем свете.



*“Брат Марк”  
Гравюра по картине Г. Линде (1863—1923)*

РУДОЛЬФ ШТАЙНЕР  
ДУХОВНЫЙ СКЛАД ГЁТЕ  
СКВОЗЬ ПРИЗМУ  
«ФАУСТА» И СКАЗКИ О ЗМЕЕ И ЛИЛИИ

I  
«Фауст» Гёте как образ  
его эзотерического  
мировоззрения

СОГЛАСНО убеждению Гёте, загадку бытия нельзя разрешить с помощью стройной системы представлений. Это воззрение он разделяет со всеми, кто, пройдя известные внутренние испытания, сумел проникнуть в сущность процесса познания. Такие люди не станут, вслед за некоторыми философами, говорить об ограниченности человеческого познания. Они хорошо понимают, что стремление человека к мудрости не знает границ и обращено в бесконечность. Но они также понимают, что глубины мира недостижимы. В каждой раскрываемой тайне лежит источник новых тайн, в каждой разгаданной загадке кроется следующая. При этом они не сомневаются в разрешимости всякой новой загадки — для этого надо лишь возвести душу на соответствующую ступень развития. И хотя они убеждены, что для человека нет неразре-

шимых мировых тайн, все же они никогда не станут довольствоваться никаким окончательным знанием, но будут пытаться взойти на такую ступень душевной жизни, с которой им вновь откроется уходящая вдаль перспектива познания.

Так же, как с познанием вообще, обстоит и с познанием, какое мы черпаем в подлинно великих произведениях духа. Эти произведения рождаются в бездонной глубине душевной жизни человека. Можно даже сказать, что лишь те творения заслуживают называться истинно значительными, глубина которых ощущается нами тем яснее, чем чаще мы к ним обращаемся. При этом, правда, необходимо, чтобы каждому такому обращению предшествовало новое продвижение вперед по пути душевного развития. Думается, каждый, кто посмотрит на "Фауста" под этим углом зрения, должен испытать подобное ощущение.

Если к тому же вспомнить, что Гёте приступил к работе над "Фаустом" еще молодым человеком, а закончил его незадолго до своей смерти, то станет очевидна невозможность свести это произведение к какой-то одной окончательной мысли. Пройдя за свою долгую и плодотворную жизнь множество последовательных ступеней развития, поэт в полной мере приобщил к этому развитию и свое творение. Однажды ему был задан вопрос, будет ли конец "Фауста" соответствовать сло-

вам, написанным в 1797 г. для "Пролога на небесах":

Знай: чистая душа в своем искании смутном  
Сознанием истины полна!

"То было бы просветлением, Фауст же умирает стариком, а в старости мы становимся мистиками", — отвечал Гёте. Действительно: молодой Гёте не мог знать, что через много лет он возвысится до воззрения, которое выразит словами *chorus mysticus* в финале "Фауста": "Лишь символ — все бrenное, что в мире сменяется". Вечное в бытии открылось ему в конце жизни совсем иначе, чем он мог это предчувствовать в 1797 г., когда вложил в уста Бога слова о вечном, обращенные к архангелам:

И все, что временно, изменчиво, туманно,  
Обнимет ваша мысль, спокойно-постоянна.

Гёте хорошо сознавал, что истина, к которой он пришел, открылась ему постепенно. И он желал, чтобы о его "Фаусте" судили именно с этой точки зрения. 6 декабря 1829 г. он сказал Эккерману: "Когда человек стар, он думает о земных делах иначе, чем думал в молодые годы <...> Я сам себе напоминаю человека, в юности имевшего много мелкой монеты, меди и серебра, которую он в течение всей жизни

\* Здесь и далее "Фауст" цитируется в переводе Н.А. Холодковского.

обменивал на ту, что покрупнее, и под конец достояние его молодости уже лежит перед ним в виде груды золота”.

Почему же в преклонном возрасте Гёте думал о “земных делах” иначе, чем в юности? Потому что его жизненный путь неуклонно поднимался к новым вершинам душевной жизни, позволявшим увидеть истину всякий раз в новой перспективе. Лишь тот, кто захочет проследить внутреннее развитие Гёте, может надеяться верно понять последние части “Фауста”. Ему будут открываться все новые глубины этого универсального поэтического творения. Он сможет постичь эзотерическое значение описанных там событий и образов. Каждая деталь, помимо внешнего, приобретает также и внутреннее, духовное содержание. Кто на это не способен, тот, следуя знаменитому эстетике Фишеру, увидит во второй части “Фауста” лишь старческую поделку, кое-как сколоченную, или станет наслаждаться образным богатством сказочного мира, созданного фантазией Гёте.

Говоря об эзотерическом значении гётевского “Фауста”, мы, естественно, вызовем возражения со стороны тех, кто полагает, что художественное произведение может быть понято и оценено лишь с точки зрения “чистого искусства”. Они немедленно заявят, что недо-

\* Записи Эккермана приводятся в переводе Наталии Ман.

пустимо подменять полнокровные образы творческой фантазии пресными аллегориями. Если бы только эти люди знали, что с более возвышенной точки зрения все подобные утверждения не более чем пустопорожняя болтовня. Поскольку для них самих духовное содержание пресно, следовательно, полагают они, и всем остальным оно представляется пресным. Но нет, существуют люди, способные дышать животворным воздухом высоты там, где вы видите лишь пресную аллегорию, и обнаружить глубинный источник духа там, где вы улавливаете ухом лишь звучание слов. Нам с вами трудно будет понять друг друга уже потому, что вы не обладаете “доброй волей”, чтобы последовать за нами в “царство духов”. Мы с вами воспринимаем одни и те же слова. И мы никого не можем принудить к усмотрению в этих словах чего-то особенного — того, что усматриваем в них мы. Мы не вступаем с вами в прения. Мы согласны со всеми вашими утверждениями. И для нас “Фауст” — это в первую очередь произведение искусства, творение фантазии. Мы признали бы свою ущербность, если бы не понимали эстетической ценности “Фауста”. Только не надо думать, что мы не воспринимаем красоту лилии потому, что нам открыта ее духовная сторона; не думайте, что мы не способны оценить образ: для нас он, как и “все брэнное”, есть, “в высшем смысле”, лишь “символ”.

И в этом мы следуем Гёте. 25 января 1827 г. в разговоре с Эккерманом он заметил: “Тем не менее, <...> все это [в “Фаусте”.. — Р. III] прочувствованно, а с подмостков будет и вполне доходчиво. К большему я и не стремился. Лишь бы основной массе зрителей доставило удовольствие *очевидное*, а от посвященных не укроется высший смысл”.

Всякому, кто всерьез хочет понять Гёте, не стоит уклоняться от подобного посвящения. Можно точно указать дату, когда Гёте пришел к мысли о том, что “лишь символ — все бrenное”. Это случилось при созерцании античных произведений искусства. “Насколько известно, старые мастера обладали большим знанием природы, как и Гомер, и у них было такое же верное представление о том, что доступно изображению и как следует изображать. К несчастью, число первоклассных произведений искусства очень невелико. Но при виде их нам не остается желать ничего большего, как познать их подлинную сущность и удалиться с миром. Эти высокие произведения искусства в то же время и высочайшие произведения природы, созданные людьми по законам природы и истины. Все произвольное, воображаемое отпадает прочь: тут сама необходимость, тут Бог”. Эта мысль записана в дневнике “Путешествия в Италию” 6 сентября 1787 г.

\* Перевод Н.А. Холодковского.

Достигнуть понимания “духа вещей” можно и иным путем. Гёте был по натуре художник. Поэтому для него этот дух раскрылся в искусстве. Можно показать, что и его великие достижения в научном познании, позволившие ему предвосхитить естественнонаучные представления девятнадцатого века, также вытекали из духа искусства\*. У иных людей тот же взгляд на сущность познания и истины может выработаться на философском или религиозном пути развития.

В гётевском “Фаусте” позволительно увидеть образ внутреннего, душевного развития человека. Притом такой, каким его только и мог создать прирожденный художник. Самим своим духовным складом Гёте был предрасположен к созерцанию природы во всей ее глубине. Мы видим, как уже мальчиком он практически воплотил свою веру глубоко прочувствованным жреческим служением природе. Он сам рассказывает об этом в “Поэзии и правде”: “Бог, который непосредственно связан с природой, который видит и любит в ней свое творение, это истинный Бог, и, конечно же, Он печется о человеке так же, как о движении звезд, о смене дня и года, о скотах и растениях”\*\*. Выбрав из естествен-

\* См. мою книгу “Goethes Weltanschauung”, Weimar 1897. — Прим. Р.Штайнера.

\*\* Перевод Наталии Ман.

нонаучной коллекции своего отца самые красивые минералы и камни, он расположил их в строгом порядке на нотном пюпитре. Получился алтарь, на котором он решил совершать жертвоприношения Богу природы. На вершине алтаря он укрепил курительную свечку и зажег ее, поймав увеличительным стеклом первые лучи восходящего солнца. Так, с помощью природно-божественных сил он возжег священное пламя. Разве не видим мы здесь начавшуюся душевную эволюцию личности, которая — если воспользоваться понятиями индийской теософии — в средоточии солнца обретает свет, в средоточии света — истину? Всматриваясь в жизнь Гёте, можно увидеть эту “тропу”, по которой он продвигался, преодолевая все новые уступы, в поисках “более глубоких пластов сознания”, — в этих глубинах открывалась ему вечная “необходимость, Бог”. В “Поэзии и правде” Гёте рассказывает, как, поочередно берясь за все науки, он однажды попытался с помощью алхимических опытов узнать у духа “слова и силы”, необходимые, чтобы проникнуть в “тайнства природы”. Позднее он стал отыскивать в творениях природы вечные закономерности и на примере “прарастения” и “п्राживотного” показал, о чем дух природы говорит человеческому духу, если душа наша в гётевском смысле приведет свой образ мыслей “в соответствие с идеей”. На пери-

од между двумя этими ключевыми моментами его внутренней жизни приходится написание той части “Фауста”, в которой герой, отчаявшись во всяком “внешнем” знании, закликает “Духа Земли”. Слова этого Духа непосредственно излучают вечный свет истины:

В буре деяний, в волнах бытия  
Я поднимаюсь,  
Я опускаюсь...  
Смерть и рожденье —  
Вечное море;  
Жизнь и движенье  
В вечном просторе...  
Так на станке проходящих веков  
Тку я живую одежду богов.

В этих строках — выражение того же всеохватного взгляда на природу, что и в прозаическом гимне “Природа”, написанном Гёте примерно в тридцатилетнем возрасте. “Природа! Окруженные и охваченные ею, мы не можем ни выйти из нее, ни глубже в нее проникнуть. Непрошенная, нежданная, захватывает она нас в вихрь своей пляски, и несется с нами, пока, утомленные, мы не выпадем из рук ее. Она творит вечно новые образы; что есть в ней, того еще не было; что было, не будет, все ново, — а все только старое <...> Она вечно творит и вечно разрушает, но мастерская ее недоступна. Она вся в своих чадах, а сама мать, где же она? — Она единственный худож-

ник <...> У каждого ее создания особенная сущность, у каждого явления отдельное понятие, а все едино <...> Она вечно меняется, и нет ей ни на мгновение покоя <...> шаги ее измерены, отклонения редки, законы непреложны <...> Все люди в ней, и она во всех <...> Жизнь — ее лучшее изобретение; смерть для нее средство для большей жизни <...> Ее законам повинуются даже и тогда, когда им противоречат <...> Она все. Она сама себя и награждает, и наказывает, и радуется, и мучит <...> Она не ведает прошедшего и будущего; настоящее ее — вечность <...> Она ввела меня в жизнь, она и уведет. Я доверяю ей <...> Я ничего не сказал о ней. Она уже сказала, что истинно и что ложно. Всё ее вина и ее заслуга”.

В старости сам Гёте, оглядываясь на этот этап своего развития, говорил, что здесь не выражено его итоговое мировоззрение и что сам он впоследствии поднялся на более высокую ступень. Но и на этом этапе ему открылся вечный мировой закон, объемлющий собою не только природу, но и человеческую душу. У него возникло ясное ощущение, что все существа связаны *воедино* вечной, железной необходимостью. Он научился рассматривать человека в тесной связи с необходимостью. Этот умственный настрой нашел отражение в оде “Божественное” (1782):

\* Перевод А.И. Герцена.

Прав будь, человек,  
Милостив и добр:  
Тем лишь одним  
Отличаю он  
От всех существ,  
Нам известных.

...  
По вечным, железным,  
Великим законам,  
Всебытия мы  
Должны невольно  
Круги совершать\*.

Те же мысли находим в монологе Фауста, в сцене “Лес и пещера”, написанной приблизительно в 1787 г.:

Могучий дух, ты все мне, все доставил,  
О чем просил я. Не напрасно мне  
Свой лик явил ты в пламенном сиянии.  
Ты дал мне в царство чудную природу,  
Познать ее, вкусить мне силы дал;  
Я в ней не гость, с холодным изумленьем  
Дивящийся ее великолепию, —  
Нет, мне дано в ее святую грудь,  
Как в сердце друга, бросить взгляд глубокий.  
Ты показал мне ряд созданий жизни,  
Ты научил меня собратий видеть  
В волнах, и в воздухе, и в тихой роще.  
Когда в лесу бушует ураган,

\* Перевод Ап. Григорьева.



И богатырь-сосна, ломаясь с треском,  
 В прах повергает ближние деревья  
 И холм ее паденью глухо вторит, —  
 В уединенье ты меня ведешь,  
 И сам себя тогда я созерцаю  
 И вижу тайны духа моего\*.

Эти “чудеса груди” открывают перед Гёте перспективу его собственной души. Эта перспектива выпадает из внешнего мира, она открывается лишь тому, кто совершает нисхождение внутрь своей души, постигая — по мере погружения в глубинные области сознания — все более возвышенные тайны. Благодаря этому мир чувств и представлений обретает новое содержание. Он становится “символом” вечного. Человек начинает видеть свой долг в том, чтобы углубить связь между внешним миром и собственной душой. Он осознает, что голоса, зазвучавшие в нем, призваны разрешить, в частности, все загадки внешнего мира. “Лишь здесь достижимо, что вне достижения”\*\*. Высшая данность жизни, разделение на мужское и женское начала, становится ключом к загадке человека. Процесс познания превращается в жизненный процесс, в процесс оплодотворения. Душа в своей глубине — женщина и, будучи оплодотворена мировым духом, приносит плод — высшее

\* Букв.: тайные глубокие чудеса груди моей. — А.Я.

\*\* Перевод Н.П. Голованова

жизненное содержание. Женщина становится “символом” этой душевной глубины. Мы сможем подняться к тайнам бытия, лишь дав увлечь себя “вечно женственному”. Высшее бытие начнется тогда, когда мы сможем прежить развитие мудрости как процесс духовного оплодотворения.

Глубочайшие мистики всех времен имели схожий опыт. Высшее знание, считали они, рождается из духовного оплодотворения; так, сцигиане считают Гора, внутреннего, душевного человека, родившимся от духовного зора, которым восставший из мертвых Осирис озарил Исиду. Вторая часть гётевского “Фауста” выражает именно такое понимание.

Любовь Фауста к Гретхен в первой части носит чувственный характер. Его любовь к Елене во второй части не сводится к чувственно-реальному, она является также “символом” глубочайшего мистического опыта души. Для Фауста поиски Елены — это поиски “вечно женственного”, поиски глубин собственной души. В силу особого склада своей натуры Гёте видел “женское в человеке” как древнегреческий идеал женской красоты. Ведь именно в красоте древнегреческих произведений искусства раскрывалась для него божественная необходимость.

Фауст становится мистиком через свой брак с Еленой. Его монолог в начале четвертого действия второй части — это речь мистика.

Глядя на явившийся ему образ женщины, олицетворяющий его собственную душу, во всей ее глубине, он говорит:

...Она вдали уж расплывается,  
 Покоится бесформенной громадою,  
 Подобно льдистых гор верхам сияющим,  
 И отражает смысл великий прошлых дней!  
 А вокруг меня тумана струйка светлая,  
 Прохладою лаская, обвивается.  
 Взвилась она наверх, — остановилась там  
 Прозрачной тучкой. Это ль чудный образ тот,  
 Великое, святое благо юности?  
 Души моей сокровища проснулись,  
 Любовь Авроры вновь восстала в памяти  
 И первый милый взгляд, не сразу понятый,  
 Всего потом дороже в мире ставший мне.  
 Как красота душевная, стремится вверх,  
 В эфир небес, чудесное видение,  
 Неся с собой часть лучшую души моей.

При этих словах, изображающих блаженство человека, низошедшего в глубину своей души и чувствующего, что “вечно женственное” в нем захватывает, унося, ее “часть лучшую”, — не вспоминаем ли мы при этих словах греческого философа, сказавшего:

Только, свободен от тела, в свободный эфир  
 вознесешься —  
 Богом бессмертным она [душа. — А.Я.]  
 становится, смерти избегнув.

Ибо на этой ступени смерть становится “символом”. Человек умирает для низкой жизни, чтобы возродиться для более высокой. Более высокая духовная жизнь превращается в новую ступень становления, временно — в “символ” вечного, возрождающегося в человеке. Связь с “вечно женственным” рождает в человеке ребенка, существование которого непреходяще, так как он принадлежит вечности. Высшая жизнь состоит в отказе от низшей, она есть смерть низшего существования и рождение высшего. Гёте выразил это в “Западно-восточном диване” следующим образом:

И куда не поймешь:  
 Смерть — для жизни новой\*,  
 Хмурым гостем ты живешь  
 На земле суровой\*\*.

В “Изречениях в прозе” находим схожую мысль: “Чтобы существовать, нужно отказаться от существования”. Гёте мыслит одинаково с мистиком Гераклитом, когда тот рассуждает о культе Диониса у греков. По его словам, этот культ превращается в пустое и даже постыдное дело, если видеть в Дионисе всего лишь бога природных сил и чувственного наслаждения. Но это не так, считает он. Этот культ был посвящен не только Дионису как богу жизни, бо-

\* Букв.: умри и стань. — А.Я.

\*\* Перевод Н.Н. Вильмонта.

гу зримо-чувственного плодородия, но и одновременно богу смерти Аиду. Одно и то же Аид и Дионис, кому они “с кликами возжигают огни”. В греческих мистериях прославляется жизнь в ее единстве со смертью — высшая жизнь, которая прошла сквозь чувственную смерть. Об этой жизни мистики говорят: “Итак, лишь смерть есть корень всякой жизни”. Во второй части “Фауста” изображено пробуждение, рождение “высшего человека” из глубин души. Под этим углом зрения следует рассматривать слова Гёте о том, что “основной массе зрителей” он предоставляет получать удовольствие от “очевидного”, тогда как “от посвященных не укроется высший смысл”.

Тот, кто проникся истинно мистическим знанием, прочтет о нем многое в гётевском “Фаусте”. В первой части, после сцены заклинания Духа Земли и разговора с Вагнером, Фауст, оставшись один, облекает чувство собственной ничтожности перед лицом Духа в следующие слова:

К зеркалу истины, сияющей и вечной,  
Я, образ Божества, приблизиться мечтал,  
Казалось, я быть смертным перестал  
В сиянии небес и в славе бесконечной;  
Превыше ангелов я был в своих мечтах,  
Весь мир хотел обнять и, полный упоенья,  
Как Бог, хотел вкусить святого наслажденья —  
И вот возмездие за дерзкие стремленья:  
Я словом громовым повержен был во прах!

Что означают слова “зеркало истины... вечной”? Об этом можно прочитать у мистика Якоба Бёме: “Все то, в отношении к чему наш мир является лишь земным подобием и зеркалом, — все это в Божием Царстве пребывает более совершенно в духовном существе, существо же это есть не один только дух, как воля или мысль, но именно телесное, полнокровное существо, хотя в сравнении с внешним миром как бы непостижимым образом; и вот из этого самого духовного существа, содержащего чистый элемент, равно как из темного существа в таинстве гнева как содержащего истоки вечного самогласного существа — из оных происходят различные качества, а также рожден и сотворен этот видимый мир, как некий звук, исходящий от Существа всех существ”. Для всех, кто падок на дешёвые обобщения, заметим, что вовсе не сбираемся утверждать, будто, сочиняя эти стихи, Гёте имел в виду указанное место из Якоба Бёме. Что он действительно имел в виду, так это мистическое знание, которое выразил Бёме в этих словах. Во всяком случае, он жил под сенью подобного мистического знания. И все более созревал, утверждаясь в нем. Он многое черпал у мистиков. В этом источнике открылась для него возможность увидеть жизнь, “все брэнное” как “символ”, или зеркало. Неисчерпаемо богат путь его внутреннего развития: от смятенных слов из

первой части о том, как он далек от “зерцала истины, сияющей и вечной”, до пения *chorus mysticus*, в котором выражено, что все “бренное” в действительности есть лишь “символ” вечного.

Мистическое “умри и стань” пронизывает всю первую сцену второй части: “Живописная местность. Фауст лежит, утомленный, на цветущем лугу, в беспокойном сне”. Эльфы под предводительством Ариэля вызывают “пробуждение” Фауста. Ариэль обращается к эльфам:

Вы, что сюда слетелись в рой свободный,  
Исполните долг эльфов благородный:  
Смирите в нем свирепый пыл борьбы,  
Смягчите боль жестокою упрека,  
Изгладьте память ужасов судьбы.  
В безмолвии ночном четыре срока.  
Не медлите ж! Слетясь со всех сторон,  
Его склоните нежно к изголовью,  
Росою Леты окропив с любовью,—  
Усталые расправит члены сон,  
И день он встретит, бодр и укреплен.  
Итак, скорее подвиг свой начните:  
К святому свету вновь его верните!

С восходом солнца Фауст вновь предается “святому свету”:

Опять ты, жизнь, живой струею льешься,  
Приветствуешь вновь утро золотое!  
Земля, ты вечно дивной остаешься:

И в эту ночь ты в сладостном покое  
Дышала, мне готова наслажденье,  
Внушая мне желанье неземное  
И к жизни высшей бодрое стремленье.

К чему стремится Фауст, сидя в своем “кабинете” (первая часть), и чего он достигает на той ступени, на которой мы застаем его в начале второй части? Свои стремления он облекает в слова “мудреца”:

В мир духов нам доступен путь,  
Но ум твой спит, изнемогая:  
О ученик! восстань, купая  
В лучах зари земную грудь!

Пока Фауст еще не может подставить “земную грудь” “лучам зари”: после заклинания Духа Земли ему удастся лишь расписаться в собственной ничтожности. Но в начале второй части он уже способен на большее. О том, как это произошло, возвещает Ариэль:

Чу! Шумят, бушуют Оры!  
Шум их слышат духов хоры;  
Новый день увидят взоры!

О том, что с утренней зарей рождается “новый день” познания и жизни, говорит и название первого сочинения Якоба Бёме — “Аврора, или Утренняя заря в восхождении”. Жизненный смысл подобных представлений у Гёте показан в приведенном выше отрывке из четвертого действия второй части. “Души

сокровища" открываются Фаусту через "любовь Авроры"... В тот момент, когда Фауст омывает "в лучах зари земную грудь", он уже достаточно зрел, чтобы, продолжая земное поприще, предаться высшей жизни. Вместе с Мефистофелем он является при дворе императора на празднестве, полном веселья и светных наслаждений. Ему поручено разнообразить эти увеселения. В маске Плутоса, бога богатства, появляется он посреди маскарада. Он него требуют, для полноты "наслаждения", вызвать колдовством Париса и Елену из подземного мира. Здесь мы видим, что душевное развитие Фауста достигло такой ступени, на которой он становится способен воспринять смысл слов "умри и стань". Он принимает участие в празднестве, в разгар которого совершает "спуск к Матерям". Лишь у Матерей может он отыскать образы Париса и Елены, которые желает видеть император. У Матерей находится царство, в котором сберегаются праобразы всего сущего. Там — область, куда вступить может лишь тот, кто "отказался от существования, чтобы существовать". Там Фауст может увидеть то, что в Елене неподвластно времени. Но Мефистофель, бывший до сих пор помощником, не может сопровождать его в эти пределы — что характерно для этого персонажа. Он не обвиняя говорит Фаусту:

Ты думаешь, что так всего сейчас  
Достигнешь ты? Крутые здесь ступени,  
Здесь ты коснешься чуждых нам владений.

Область вечного чужда Мефистофелю. Это поначалу может показаться непонятным, если вспомнить, что сам он принадлежит царству зла, т. е. пространству вечного. Все прояснится, если мы примем во внимание особенность гётевского мировоззрения. Вечная необходимость у Гёте внеположна христианству, включающему для него такие понятия, как ад и дьявол. Вечное раскрылось лично ему вне досягаемости понятийного универсума христианства. Следует вполне согласиться с тем, что первоисточник образа Мефистофеля также лежит в области языческих религиозных представлений\*. Между тем Гёте возводил этот образ к североевропейскому христианскому миру. Именно оттуда Гёте и почерпнул его. Личный опыт привел его к заключению о невозможности отыскать царство вечного, оставаясь в рамках христианских представлений. Чтобы убедиться в этом, достаточно вспомнить исполненное глубоких мыслей письмо Шиллера к Гёте от 23 августа

\* См.: Carl Kiesewetter, *Faust in der Geschichte und Tradition. Mit besonderer Berücksichtigung des okkulten Phänomenalismus und des mittelalterlichen Zauberesens*, Leipzig 1893. — *Прим. Р.Штайнера.*

1794 г., отражающее, как зеркало, самую суть Гёте: “Если бы Вы родились греком или хотя бы итальянцем и Вас с колыбели окружала бы ни с чем не сравнимая природа и идеализирующее искусство, то путь Ваш оказался бы несравненно более коротким, а может быть, — и вообще излишним. Уже при первичном созерцании явлений Вы восприняли бы форму необходимого и с первыми же Вашими опытами в Вас развился бы большой стиль. Но поскольку Вы родились немцем, поскольку Ваш греческий дух был заброшен в этот северный мир, то у Вас не оставалось иного выбора, как либо самому стать северным художником, либо с помощью силы мышления возместить своему воображению то, чего не предоставила ему действительность, и благодаря этому словно бы *изнутри* и рациональным путем породить некую Грецию”.

Здесь мы не можем входить в анализ существующих толкований образа Мефистофеля. В этих толкованиях отразилось — противоположное моему — стремление превратить художественные образы в пресные аллегории или символы. Эзотерический смысл этого образа предполагает понимание Мефистофеля как реального человека, имея в виду, конечно, поэтическую реальность. Ибо эзо-

\* Перевод И.Е. Бабанова.

терическое толкование ищет не такого духовного содержания, которое образы обретают лишь благодаря поэтам, но такого, какое они имеют в самой жизни. Такое содержание поэт не может ни привнести в образ, ни изъять из него, он лишь берет его, как нечто очевидное, непосредственно из жизни. К самой сути Мефистофеля относится, однако, то, что он живет в чувственном, в материальном. Ведь ад является лишь воплощением материального. Для того, кто, как Мефистофель, настолько погружен в материальное, нет более далекой области, чем вечное, покоящееся в лоне Матерей. Чтобы вновь проникнуть в вечное, в божественное, вернуться к своему истоку, человек должен пройти сквозь материальное. Если он сумеет найти этот путь, сумеет “отказаться от существования, чтобы существовать”, — значит, он принадлежит к числу “фаустовских натур”; если же он не сможет оторваться от материального, следовательно, его характер сродни мефистофельскому. Мефистофель может лишь вручить Фаусту “ключ” к царству Матерей. С этим ключом действительно связана тайна. Чтобы почувствовать эту тайну во всей ее глубине, нужно внутренне пережить ее. Легче всего это человеку, который живет наукой.

Можно, нагромоздив гору знаний, так и остаться чуждым “духу вещей”, царству Матерей. И все же наука, по сути, дает человеку в ру-

ки ключ от царства духа. С ее помощью можно достичь либо учености, либо мудрости. Мудрый человек должен овладеть “сухой материей науки”, накопленной чистым ученым, и тем самым проникнуть в “область, весьма далекую” для остальных людей. Фауст сумел, с ключом, данным ему Мефистофелем, спуститься к Матерям. В том, как оба они говорят о царстве Матерей, отражается их характер.

МЕФИСТОФЕЛЬ

Но там в пространстве, в пропасти глубокой,  
Нет ничего, там шаг не слышен твой,  
Там нет опоры, почвы под тобой.

ФАУСТ

Но в пустоту меня, наоборот,  
Чтоб я окреп, теперь ты посылаешь,  
А сам чужими загребать желаешь  
Руками жар. Но все-таки вперед!  
На все готов я, все я испытую:  
В твоём “ничто” я все найти мечтаю.

Гёте рассказал Эккерману, как он пришел к мысли ввести в действие тему Матерей. “Могу вам открыть лишь одно, — сказал он наконец, — я вычитал у Плутарха, что в Древней Греции на Матерей взирали как на богинь”. Прочитанное должно было произвести на Гёте, который по собственному мистическому опыту постиг значение “вечно женственного”, огромное впечатление.

Фауст волшебством выводит из царства Матерей образы Елены и Париса. Увидев Елену в императорском дворце, он загорается к ней неодолимой страстью и пытается овладеть Еленой. Раздается взрыв. Фауст падает без чувств, и его уносит Мефистофель... Момент во внутреннем развитии Фауста, который мы здесь видим, исполнен огромного значения. Он достаточно созрел, чтобы продвигаться к духовному. Он может духовно возвыситься до вечных праобразов. Он достиг той точки, откуда духовное открывается человеку в необъятной перспективе.

Теперь он мог либо удовольствоваться достигнутым и сказать себе, что открывшуюся перспективу нельзя охватить в один миг, что нужно тщательно, шаг за шагом исследовать ее на протяжении бесчисленных жизненных превращений, либо — попытаться единым порывом достигнуть божественной цели. Именно это последнее выбирает Фауст. Впереди у него — новое испытание. Ему предстоит узнать, что человек неотделим от материального и что, лишь пройдя все ступени материального, он становится достаточно чист для достижения конечной цели.

Лишь чисто духовное, в духе рожденное существо способно слиться с духовным началом. Человеческий дух не таков. Он должен пройти через все материальное. Без этого жизненного странствия человеческий дух

остался бы сущностью без сущности. Таким он не мог бы жить. Но, раз возникнув, он должен пуститься в путь по материальному с самого начала. Ибо человек является тем, что он есть, лишь благодаря тому, что ранее он прошел череду воплощений. Это представление Гёте также должен был отразить в своем "Фаусте". 16 декабря 1829 г., говоря о Гомункуле, он заметил Эккерману: "...ибо духовные создания вроде Гомункула, не до конца очеловеченные, и потому еще ничем не омраченные и не ограниченные, причислялись к демонам".

Итак, Гомункул — это человек, но лишенный присущей человеку материальности. Он получен в лаборатории искусственным путем. В тот же день Гёте в разговоре с Эккерманом сказал следующее: "Создание, для которого настоящее абсолютно ясно и прозрачно, Гомункул видит внутренний мир Фауста, а тому сейчас снится <...> сон". Но как раз потому, что для духа Гомункула все прозрачно, дух его не занимает. "Последовательные рассуждения не по нему, он жаждет *деятельности*". Поскольку человек обладает знаниями, они пробуждают в нем волю, стремление к действию. Важно не знание, не дух сам по себе, важно, чтобы этот дух был проведен через материальное, через действие. Чем больше знает какое-либо существо, тем более сильный порыв к действию должен у него возник-

нуть. Существо, возникшее чисто духовным образом, должно быть буквально переполнено жаждой действия. Именно таков Гомункул. Своим мощным порывом к действительности он увлекает Фауста и Мефистофеля в Грецию, в "Классическую Вальпургиеву ночь". В царстве, где Гёте находит высшую реальность, Гомункул должен получить телесное воплощение. Вместе с тем и Фаусту представляется возможность увидеть настоящую Елену, а не только ее праобраз. Как вожатый по древнегреческому миру выступает Гомункул. Достаточно проследить за блужданиями Гомункула во время классической Вальпургиевой ночи, как перед нами раскроется его сущность. Гомункул хочет узнать у двух древнегреческих мудрецов, Фалеса и Анаксагора, как ему родиться, иными словами, как начать действовать. Об этом он говорит Мефистофелю:

Да вот, я все порхаю здесь вокруг;  
Хочу родиться в лучшем смысле слова,  
Жду не дождусь разбить свое стекло;  
Но как вокруг я посмотрю, так снова  
Боюсь: как будто время не пришло  
Отважиться на это. Откровенно  
Скажу тебе: иду я по следам  
Двух мудрецов почтенных, непременно  
Хочу я к их прислушаться словам.  
В речах у них "природа" да "природа",  
И, знаешь, от людей такого рода



Отстать я не хотел бы; вижу я:  
Ясна им суть земного бытия!  
От них надеюсь скоро знать вполне я,  
Как поступить бы мне всего умнее.

Он хочет узнать, каковы природные условия телесного рождения. Фалес приводит его к Протею, олицетворяющему всякое превращение и вечное становление. Фалес говорит о Гомункуле:

Вот от тебя он страстно ждет совета:  
Произойти на свет желал бы он.  
Он говорил мне, — как ни странно это, —  
Что вполнину только он рожден.  
В душевных свойствах нет в нем недостатка;  
Лишь в годном, в осязательном нехватка.  
Теперь ему стекло лишь вес дает.

В ответ Протей сообщает закон становления:

...нечего тут речи расточать:  
В широком море должен ты начать!  
Сперва там влага в малом жизнь слагает,  
А малое малейших братий жрет  
И понемногу все растет, растет —  
И так до высшей точки достигает.

Фалес прибавляет к этому свой совет:

Свершай похвальное стремленье,  
С начала начинай творенье  
И к действию готовым будь!  
Ты по законам вечной нормы

Пройдешь бесчисленные формы:  
До человека — длинный путь!

Все гётевские воззрения на природу во всей их целостности: о родственной связи всех существ, об их метаморфическом развитии от несовершенного к совершенному, нашли здесь образное отражение. Дух может поначалу войти в мир лишь как семя. Он должен излиться в материю, в ее стихии, должен погрузиться в них, чтобы затем извлечь из них для себя более высокую форму. Гомункул разбивается о раковину-колесницу Галатеи и распадается на отдельные стихии. Вот как описывают это Сирены:

Все волны проникнуты чудом огнистым;  
Дробясь, они искрятся пламенем чистым,  
Сверкают, колышутся, плещут огнем;  
Тела засияли во мраке ночном;  
Все море великое пламя объяло.  
Хвала же Эроту: он жизни начало!

Гомункул как дух больше не существует. Он смешался со стихиями и теперь может возникнуть лишь из них. Дух должен соединиться с желанием, волей, действием, Эросом (Эротом). Он должен пройти через материю и грехопадение. Духовное существо должно, по вышеприведенным словам Гёте, узнать омраченность и ограниченность. Это необходимо для "полного очеловечивания". Таинство оче-

ловечивания изображено во втором действии. Протей, этот мастер телесных превращений, так описывает его:

Стремись же духом в волны! В море  
И вдаль и вширь в его просторе,  
Куда захочешь, можешь плыть.  
Но не ищи высоких званий:  
Стал человеком — и желаний  
Нет боле: нечем больше быть.

Это все, что доступно Протею как олицетворению телесных метаморфоз. Он полагает, что с рождением человека заканчивается всякое развитие. Дальнейшее — уже не его удел. Его сфера — телесное; между тем с возникновением человека духовное как раз отделяется от чисто телесного. Дальнейшее развитие человека происходит в царстве духовного. Высшее, к чему проводит природный Эрос, есть разделение на два пола, мужской и женский. Здесь начинается духовное развитие, Эрос одухотворяется. Фауст вступает в брак с Еленой, являющей пробраз красоты. Сам Гёте был убежден, что стал самим собой лишь благодаря браку с греческой красотой. Таинство одухотворения имело для Гёте творчески-художественный характер. От брака Фауста с Еленой рождается Эвфорион. Имеется высказывание Гёте касательно Эвфориона. Эккерман приводит слова Гёте в записи от 20 декабря 1829 г.: “Эвфорион <...> — не человек, а

лишь аллегорическое существо. Он олицетворение поэзии, а поэзия не связана ни с временем, ни с местом, ни с какой-нибудь определенной личностью”. От брака, заключенного Фаустом в самой глубине души, рождается поэзия. Этот аспект духовного таинства вновь отсылает нас к личному опыту и неповторимой сущности Гёте. В искусстве, в поэзии он видел “манифестацию тайных природных законов”, которые не могли найти выхода иначе как через искусство и поэзию\*. Как художник он поднялся на высшие ступени душевной жизни. И нет ничего удивительного, что он придал своей поэзии не только общие, но и особые черты, заимствованные из поэтических творений его времени. Его Эвфорион был наделен некоторыми чертами Байрона. “Байрон был единственным, кого я по праву мог назвать представителем новейших поэтических времен, — заметил Гёте в разговоре с Эккерманом 5 июля 1827 г., — ибо он, бесспорно, величайший талант нашего столетия. Вдобавок он не склоняется ни к античности, ни к романтизму, он — воплощение нынешнего времени. Такой поэт и был мне необходим, к тому же для моего замысла как нельзя лучше подошла вечная неудовлетворенность его натуры и воинственный нрав, который и довел

\* Ср.: Гёте “Изречения в прозе”. — Прим. Р.Штайнера.

его до гибели в Миссолонги. Писать трактат о Байроне не сподручно, и я бы никому не посоветовал это делать, но при случае воздавать ему хвалу и указывать на многообразные его заслуги я не премину и в дальнейшем”.

Брак Фауста и Елены не мог быть продолжительным. Нисхождение в глубины души — в этом убежден и Гёте — возможно лишь в особые, праздничные мгновения жизни. Человек погружается в области, где зарождается высшее духовное начало. Но в результате превращения, там претерпеваемого, он снова возвращается к деятельной жизни. Фауст проходит процесс одухотворения, но, уже будучи одухотворен, он должен снова начать действовать в реальной жизни. Человек, испытавший подобные праздничные мгновения, замечает, что в окружающей действительности более глубокие душевные сущности вновь ускользают от него. У Гёте это представлено в художественном образе: Эвфорион снова исчезает в царстве тьмы. Человек не может придать духовному формату для земного существования. Но теперь это духовное навсегда имеет с его душой внутреннюю связь. Оно, как его дитя, увлекает и душу его в область вечного. Отныне он заключил с вечным брачный союз. Благодаря духовным деяниям высшего порядка человек вместе с лучшей частью своего существа всю глубину души вступает в вечное. Брак,

который он заключил в своей душе, позволяет ему раствориться в мироздании. Подобно вечному зову, звучащему в груди человека, всегда охваченного стремленьем, раздаются слова Эвфориона:

Мать, не покинь меня  
В царстве теней.

Тому, кто распознал во временном вечное, навсегда останется внятн этот зов духовных сфер. Собственные его творения влекут его душу к вечному. Именно такой отныне становится жизнь Фауста. Теперь он будет вести двойное существование. Он будет творить в этой жизни, но его духовное дитя, во все время его земного странствования, связывает его с высшим царством духа. Так суждено жить мистику. Но не праздному созерцателю, погруженному в мечты, а полнокровному деятелю, каждое деяние которого несет отпечаток благородства, обретаемого через духовное углубление.

Также и с внешней стороны жизнь Фауста теперь — это жизнь человека, отказавшегося от существования, чтобы существовать. Он хочет без остатка посвятить себя служению человеческому роду, но ему предстоит еще одно испытание. Даже поднявшись на столь высокую ступень, он не может вполне согласовать свою материальную деятельность с чистыми потребностями духа. Он отвоевал у моря часть

суши и воздвиг на новом участке величественные сооружения. Лишь один ветхий домик остался стоять на прежнем месте, в нем живет чета стариков. Этот-то домик и мешает всем нововведениям. Старики отказываются променять свой участок на богатое имение. Фаусту приходится быть свидетелем того, как Мефистофель, извратив, обращает во зло его желание. Он поджигает домик, старики гибнут от страха. Фауст снова убеждается на собственном опыте, что процесс “полного очеловечивания” “омрачен и ограничен” и что на этом пути неизбежен грех. Собственные восприятия, материальное начало — вот что сыграло с ним злую шутку, поставило перед необходимостью испытания... Услышав колокольный звон, доносящийся из часовни стариков, Фауст раздражается такой речью:

Проклятый звон! Как выстрел, вечно  
Он в сердце бьет! Передо мной  
Мое владенье бесконечно,  
А там — досада за спиной!  
Твердит мне звон дразнящий, мерный,  
Что господин я не вполне,  
Что кучка лип, домишко скверный,  
Часовня — не подвластны мне!  
Пойду ль туда, — мне страшны, гадки  
Чужие тени на пути,  
Бельмо в глазу, заноза в пятке!  
О, если б прочь отсель уйти!

Чувственные восприятия произвели в Фаусте роковое желание. Но все же в его распоряжении остается еще толика “существования”, от которой необходимо отказаться, чтобы существовать. Участок стариков ему не принадлежит. В “полночь” являются четыре седые женщины: Порок, Грех, Забота, Нужда. Они-то и делают существование человека “ограниченным” и “омраченным” и сопутствуют людям всю жизнь. Без их водительства он сначала не может ступить ни шагу. Ибо освободить от них может лишь сама жизнь. Фауст столь далеко ушел в своем развитии, что три из них потеряли над ним власть, и лишь Забота по-прежнему сохраняет свою силу. Вот ее слова:

Из вас, мои сестры, никто не пройдет,  
Забота ж — в замочную щель проскользнет.

Забота напоминает ему о некоем голосе, звучащем в сердце каждого человека. Никто не может подавить в себе сомнение при мысли о том, что придется держать перед вечностью ответ за свою жизнь. И в эту минуту Фауст осознает это. Чисты ли те силы, которые теперь его окружают? Смог ли он очистить от грязи своего “внутреннего человека”? Ему случалось прибегать к магии. Он сам признается в этом:

Не вырвался еще на волю я!  
О, если бы мне магию прогнать,  
Забуть все заклинанья, чар не знать,

Лицом к лицу с природой стать! Тогда  
Быть человеком стоило б труда!

Нет, Фауст тоже не свободен от последнего сомнения. Следующие слова Заботы относятся и к нему:

Пусть меня не слышит ухо, —  
Громозвук мой в недрах духа;  
В разных образах встает  
Мой суровый, властный гнет.

Перед лицом Заботы Фауст пытается доказать, что у него исчезли всякие сомнения в правильности его жизненного пути:

Достаточно познал я этот свет,  
А в мир другой для нас дороги нет.  
Слепец, кто гордо носится с мечтами,  
Кто ищет равных нам за облаками!  
Стань твердо здесь — и вкруг следи за всем:  
Для мудрого и этот мир не нем.  
Что пользы в вечность воспарять мечтою!

Еще немного, и Фауст добьется окончательной свободы. Забота на свой лад напоминает ему о вечном. Она показывает, что земная деятельность людей проходит в круге временного и преходящего. И если, отдавшись подобной деятельности, они начнут верить, что «для мудрого и этот мир не нем», тогда она, Забота, не оставит их до конца. Так же, как с другими, она надеется поступить и с Фаустом. Она надеется углубить в нем сомнение, свойственное челове-

ку, когда он встает перед вопросом: а имеет ли все созданное им в жизни хоть какой-то смысл? О том, как она управляет с людьми, Забота рассказывает так:

В путь идти ль? Стремиться ль смело?  
Нет решимости для дела!  
Он пошел, но по дороге  
Замедляет шаг в тревоге;

...

Беспрепятственным раздраженьем,  
Этой вялостью унылой,  
Этим тягостным круженьем  
И ничтожностью постылой,  
Полусном, душе усталой  
Отводящим отдых малый, —  
Вечно к месту он прикован  
И для ада уготован.

Но душа Фауста уже слишком высока, чтобы поддаваться подобному воздействию. И он бросает в лицо Заботе:

Но, — грозно-низкая Забота, — твоего  
Могущества я не признаю вечно!

Она властна лишь над его телом. Удаляясь, она обдаёт его своим дыханьем, и он слепнет. Теперь все телесное в нем еще на один шаг приближается к смерти.

Вокруг меня весь мир покрылся тьмою,  
Но там, внутри, тем ярче свет горит.

Отныне в Фаусте важно лишь душевное начало. Но над этим началом Мефистофель, весь заключенный в круге материального, уже не властен. Да и сам Фауст после встречи с Еленой принадлежит вечному лучшей своей частью, глубиной своей души. После смерти Фауста вечность окончательно завладевает им. Гении приобщают к ней бессмертную часть его существа.

Дух благородный зла избег,  
 Сподобился спасенья;  
 Кто жил, трудясь, стремясь весь век, —  
 Достоин искупленья.  
 Обвеян с горних он высот  
 Любовьию предвечной:  
 О, пусть весь сонм блаженных шлет  
 Привет ему сердечный!

Эта горняя любовь отчетливо противопоставлена “Эросу”, который имеет в виду Протей и о котором говорится (конец второго действия, ч. II):

Все море великое пламя объяло.  
 Хвала же Эроту: он жизни начало.

Эрос здесь — это “любовь дольная”, которая проводит Гомункула через все стихии мира и через все телесные превращения, чтобы в конце концов он предстал человеком. И лишь затем она уступает место “любви горней”, которая руководит душой в ее дальнейшем развитии.

Душа Фауста вступает на путь вечно-беспредельного. Перед ней открывается бесконечная перспектива. Человеку дано лишь смутно угадывать эту перспективу. Добиться ее художественного воплощения чрезвычайно трудно, и Гёте хорошо сознавал это. Однажды он сказал Эккерману: “Думается, вы согласитесь, что финал — вознесенье спасенной души — сделать было чрезвычайно нелегко и что, говоря о сверхчувственном, едва только чаемом, я мог бы расплыться в неопределенности, если бы не придал своим поэтическим озарениям благодетельно ограниченную четкую форму христианско-церковных преданий и образов”. Гёте необходимо было указать на неисчерпаемость души, символически представить внутренний мир во всей его глубине. “Святые отшельники, ютящиеся по склону горы, в ущельях”, знаменуют состояние высшего душевного развития. Читателю указывается дорога наверх, в ту область сознания (души), где мир все более походит на “символ” вечного.

Это сознание, эту глубину души мистическим образом олицетворяет Дева Мария, воплощение “вечной женственности”. Doctor marianus восторженно молит ее:

О Владычица, молю!  
 В синеве эфира  
 Тайну мне узреть Твою  
 Дай, Царица Мира!

“Фауст” заканчивается торжественными словами *chorus mysticus*. По замыслу, это слова вечной мудрости. Они провозглашают мистериальную истину: “лишь символ — все брэнное”. То, что лежит в недостижимой дали, к чему ведет путь человека, познавшего смысл слов “умри и стань”,

Лишь здесь достижимо,  
Что вне достижения.

*(Перевод Н. П. Голованова)*

То, что нельзя описать, ибо можно лишь пережить, что дано было пережить посвященным в “мистерии”, влекомым по “тропе” вечности; что несказанно, ибо оно таится в глубоких пропастях души и потому неуловимо для слов, отчужденных для нужд временного:

Что вне описания, —

...

Лишь здесь происходит.

Ко всему этому влечет человека его душа, влекут силы, которые он смутно угадывает, переступая порог внутренних врат своей души, вслушиваясь в божественный голос, изнутри призывающий его заключить брак между “вечно мужественным” — этим миром — и “вечно женственным” — сознанием:

И женственность вечная  
Сюда нас возводит.

## Духовный склад Гёте сквозь призму «Фауста»

ДУШЕВНЫЙ конфликт, пережитый Гёте и заложенный им в основу образа Фауста, раскрывается с полной силой уже в самом начале действия — именно в тот момент, когда Фауст, отвергнув знак макрокосма, обращается к знаку Духа Земли. Весь первый монолог Фауста, предшествующий этому душевному переживанию, по сути, можно считать лишь прелюдией. Фаустова неудовлетворенность науками, а также своим состоянием как ученого говорит о своеобразии мысли Гёте куда меньше, чем отношение Фауста к Духу Вселенной и Духу Земли. Знак макрокосма открывает душе картину всеобъемлющей мировой гармонии:

Как в целом части все, послушною толпою  
Сливаясь здесь, творят, живут одна другою!  
Как силы горние в сосудах золотых

Разносят всюду жизнь божественной рукою  
И чудным взмахом крыл лазоревых своих  
Витают над землей и в высоте небесной —  
И стройно все звучит в гармонии чудесной!

В сопоставлении со знаком, известным Гёте как знак макрокосма, эти слова обращают наше внимание на одно важное душевное переживание Фауста. Его душе предстал символ всей Вселенной: Земля в единой связи со всеми планетами Солнечной системы, включая само Солнце; активность всех небесных тел как проявление духовных сущностей, регулирующих их движение и взаимодействие; не механически движущаяся небесная сфера, но космическое переплетение духовных иерархий, излучающих в своей совокупности мировую жизнь, частью которой является человек. И сам человек как средоточие всех этих воздействий... И все же созерцание этой всеобщей гармонии не дает Фаусту того душевного опыта, которого он взыскует. Чувствуется, что его не оставляет в покое подспудный вопрос: как стать “человеком” в подлинном смысле этого слова? Его душа жаждет постичь, как человеку сознательно сделаться человеком? Ей не удается отыскать в себе чувств, которые помогли бы ей увидеть себя средоточием всех элементов, указанных в знаке макрокосма. Ибо в этом и заключается “познание”, которое, посредством сильных внутренних пере-

живаний, может быть претворено в “самопознание”. Но никакое познание, даже самого высшего порядка, не захватывает сразу всего человека. Оно затрагивает лишь часть человека, его еще нужно испытать жизнью, и лишь затем, через взаимодействие с жизнью, оно расширяет свою сферу, охватывая все человеческое существо. Фауст слишком нетерпелив, чтобы довольствоваться тем, что знание только и может дать в первую минуту. Ему хочется в одно мгновение испытать и пережить то, что дается лишь временем. Поэтому-то он и отвергает откровение макрокосма:

Какой спектакль! Жаль — только лишь  
спектакль!  
(Перевод А. Ярина)

Познание дает лишь *образную картину* жизни. Но Фаусту не нужен образ, ему нужна сама жизнь... И вот он обращается к знаку Духа Земли. В этом знаке перед ним символ всего бесконечного человеческого существа, каково оно есть благодаря воздействию сил Земли. Этот символ будит в его душе видение того, что есть в человеке от беспредельной сущности; однако созерцаемое таким образом непременно должно ошеломить, если воспринимать его не расчлененным на отдельные *образы*, открывающиеся в течение жизни по мере развития познания, а увидеть сжатым в едином познавательном миге. Явление Духа Зем-



ли показало Фаусту, что в действительности представляет собой человек, но и ошеломило его, так как вошло в его сознание разом, минуя познавательную способность с ее отражающим и потому ослабляющим действием. Отнюдь не философический, но живой, инстинктивный страх духовного порядка овладевал Гёте — страх, охватывающий человека при мысли: что станет со мною, если загадка моего существования откроется мне внезапно, не освоенная прежде познанием?

Гёте хотел изобразить в "Фаусте" не только те разочарования, к которым ведет заблудившееся познание; его больше интересовала природа коренящихся в самом существе человека конфликтов, свойственных познавательному влечению как таковому. В каждый момент своего существования человек *есть нечто большее*, чем необходимо для вершения жизни. Человек должен развиваться изнутри самого себя, он должен постепенно разворачивать познаваемое — в полной мере познать можно лишь полностью развернутое. Познавательные силы человека таковы, что, будучи в недолжное время ознакомлены с предметом, который им лишь предстоит как следует освоить, они бывают им ошеломлены... Фауст живет всем тем, что открывается ему в словах Духа Земли. Но он ошеломлен созерцанием собственной сущности, явленной его душе в тот момент его жизненного развития, когда по-

знание этой сущности посредством претворения ее в образ невозможно.

Ты близок лишь тому, кого ты постигаешь, —  
Не мне!

Эти слова сражают Фауста. В сущности, он увидел *самого себя*, но именно с *самим собой* он не может сравняться, ибо не в состоянии охватить себя познанием. Самосозерцание подавляет неподготовленную душу.

"Не тебе! Но кому ж?" — спрашивает Фауст. Ответ дается в драматической форме... Входит Вагнер, это и есть ответ. В эту минуту лишь высокомерие подталкивало Фауста к познанию тайны собственной души. Поначалу в нем живет лишь *стремление* к этой сокровенной тайне; Вагнер же олицетворяет то, что Фауст в настоящую минуту способен охватить в самом себе. Глубоко ошибается тот, кто видит в этой сцене лишь противопоставление высокодуховного Фауста и ограниченного Вагнера. Вторжение Вагнера после разговора Фауста с Духом Земли есть указание Фаусту на то, что в развитии познавательных способностей он, по сути, находится с Вагнером на одной ступени. В драматургическом плане Вагнер здесь — образ Фауста.

То, что не было открыто Фаусту Духом Земли в одну минуту, должно быть выявлено

\* Букв.: равен лишь тому духу. — А.Я.

всем ходом жизни. Не случайно Гёте чувствовал потребность не только провести Фауста через глубинный слой жизни, отправляясь от его сорокалетнего возраста, но и, отчасти обращаясь к прошлому, явить его внутреннему взору то, чего он сам лишил себя в силу абстрактности своих познавательных устремлений. В образе Вагнера Фауст как бы сам предстает перед своим внутренним взором. В монологе окончательной редакции драмы, следующем за сценой с Вагнером: "Он все надеется!..." — лишь волны, бьющие из подсознательной глубины и изливающиеся наконец — в решении покончить жизнь самоубийством. Из своего непосредственного ощущения Фауст в этот миг может извлечь лишь эмоциональный вывод о том, что всякой человеческой надежде суждено "истребиться". От этого импульсивного решения Фауста спасает сама жизнь, волшебным образом раскрывшая его душе то, что его абстрактному мышлению прежде казалось несущественным: он видит простых людей, празднующих Пасху, принимает участие в пасхальном гулянии. Благодаря этим переживаниям, вернувшим его душе — пусть ретроспективно — юность, когда-то не прожитую полнокровно, в нем начинает сказываться недавнее соприкосновение с духовным миром, общение с Духом

\* Букв.: "Как только в этой голове не истребится надежда!". — А.Я.

Земли. Вследствие этого во время беседы с Вагнером на прогулке с Фауста спадает печать вагнеровского душевного строя. Вагнер весь остается в области абстрактных научных устремлений; Фаусту же предстоит воплотить полученный душевный опыт в реальной жизни, упоная на то, что жизнь сама даст ему силы найти на его вопрос ("Не тебе! Но кому ж?") иной ответ, чем тот, что олицетворен Вагнером.

Человек, который, подобно Фаусту, имел реальное соприкосновение с духовным миром, совсем иначе станет относиться к жизни, чем тот, кому доступно лишь чувственное существование и чье познание ограничивается представлениями, почерпнутыми из чувственного. То, что Гёте называл "духовным оком", для Фауста является реальностью живого опыта. Жизнь подводит его к необходимости и новых преодолений, помимо преодоления вагнеровской природы. Вагнеровское начало свойственно и Фаусту. Он преодолевает его в себе тем, что рисует перед собой живую картину того, что было упущено им в юности. Даже попытка оживить для себя слова Библии тоже является воскрешением ранее упущенного. Но именно в это время душе Фауста предстает другой "образ и подобие" его существа, Мефистофель. Он являет собой еще один весомый ответ на вопрос Фауста: "Не тебе! Но кому ж?" Мефистофельское начало Фауст должен *преодолеть* посредством жизненного

опыта, усвоенного душой, уже имевшей соприкосновение с духовным миром. Можно быть уверенным, что взгляд, согласно которому Мефистофель есть часть души Фауста, не идет вразрез с художественным замыслом драмы. Ибо этим не утверждается, что Гёте хотел нарисовать Мефистофеля как некую символическую фигуру, а не как полнокровный драматический образ. Ведь и в жизни бывает так, что один человек находит в другом часть своей собственной сущности, узнаёт себя в другом человеке. Я не утверждаю, что некий Ганс Мюллер — лишь символ меня самого, когда говорю, что вижу в нем часть моего собственного существа. Драматические образы Вагнера и Мефистофеля представляют собой индивидуальные, полные жизни создания; с их помощью Фауст достигает самосозерцания.

Что же являет собою следующая сцена — разговор с учеником — душе, открытой на встречу гётевской драме? Лишь то, что Фауст общается со своими учениками, обращаясь к ним мефистофельской стороной своей личности. В человеке, не преодолевшем мефистофельское начало в себе, наружу выступает Мефистофель. Мне кажется, однако, что в этой сцене, перешедшей в окончательный текст из более ранней редакции, напрасно оставлены нетронутыми некоторые места, которые следовало бы переработать, чтобы привести их в соответствие с духом целого. Согласно *этому*

духу, Фауст должен был бы сам пережить тот разговор, который ведет с учеником Мефистофель. Этого Гёте не сделал. Но в ранних редакциях драмы Гёте и не стремился строить ее таким образом, чтобы Фауст лично переживал все в ней происходящее. Позднее он просто перенес в окончательную редакцию своего произведения некоторые куски, не соответствующие его общему сложившемуся позднее духу.

Автор настоящих заметок принадлежит к читателям “Фауста”, которые постоянно возвращаются к этому произведению. И при каждом новом прочтении ему открывалось нечто новое из неизмеримого богатства жизненного знания и опыта, которое Гёте вложил в свое творение. Однако ему никогда не удавалось, при всей художественной достоверности драматического образа Мефистофеля, обнаружить в нем единую и цельную сущность. Тогда ему стало ясно, почему комментаторы не понимают, как, собственно, следует рассматривать этот образ. Возникло мнение, что Мефистофель на самом деле не бес, а слугитель Духа Земли. Но этому противоречат собственные слова Мефистофеля:

Я рад бы к черту провалиться,  
Когда бы сам я не был черт!

Составить единое целое из всего, что говорит Мефистофель, тоже не удаётся.

Работая над этим произведением, Гёте все более и более сосредоточивал его вокруг некоего загадочного глубоко личного переживания. Свет, излучаемый этим загадочным переживанием, освещает абсолютно все сцены трагедии. В Мефистофеле воплощено начало, которое, по мере углубления жизненного опыта, человек должен преодолевать в себе. В этом образе выведен враг всего того, к чему человек стремится по самой своей сути... Но каждый, кому удастся вжиться в тайну, сообщенную образу Мефистофеля, обнаружит в нем не *одного*, а *двух* врагов человеческой природы. Первый происходит из чувствующей и волящей способности человеческой личности, второй — из ее познавательной способности. Чувства и воля человека клонятся к тому, чтобы изолировать человека от внешнего мира, в котором корень и источник его существования. Ему чудится, что он может пройти свой жизненный путь, опираясь исключительно на самого себя. В своем ослеплении он не видит, что сам является частью мирового целого, как палец является частью руки. Что его ждет духовная смерть, если он захочет отрезать себя от мира, подобно тому как палец гибнет физически, вздумай он отделиться от организма. Человек безотчетно стремится к подобной самоизоляции. Путь к жизненной мудрости не в том, чтобы пренебречь этим стихийным стремлением, а в том,

чтобы преодолеть его характерную суть, превратив врага в помощника. Тот, кто, подобно Фаусту, испытал воздействие духовного мира, принужден куда более осознанно сражаться с этой враждебной силой, чем не имеющий такого опыта. В драматическом плане эта сила может рассматриваться как люциферический антагонист человека. Она действует в самой его сокровенной сущности, опираясь главным образом на его эгоистические стремления.

Другой враг человеческой природы черпает свои силы в наваждениях, которым человек подвергается как существо, воспринимающее и представляющее себе окружающий мир. Опыт, обретаемый нами в познании внешнего мира, зависит от *образов*, формирующихся у нас в зависимости от настроения нашей души, от точки зрения, с которой мы видим мир, от великого многообразия других условий. Процесс возникновения этих образов и дает пристанище духу иллюзии. Он разрушает те истинные отношения, в какие человек, не будь этого воздействия, мог бы поставить себя к внешнему миру и остальному человечеству. Он, например, вносит распри и ссоры в отношения между людьми. Он устанавливает между ними такого рода взаимную зависимость, которая влечет за собой раскаяние и угрызения совести. Пользуясь представлениями иранской мифологии, этот дух можно назвать

ариманическим. Древнеиранский миф приписывает Ариману такие свойства, которые оправдывают употребление этого наименования в данном случае.

Оба антагониста человеческой природы, люциферический и ариманический, подступают к человеку каждый по-своему. Гётевский Мефистофель несет в себе явные ариманические черты, однако в нем имеется и люциферический элемент. Фаустовская натура в большей степени уязвима для соблазнов люциферического и ариманического свойства, чем личность, не имеющая духовного опыта. Можно попытаться представить себе, что Гёте вместо одного Мефистофеля вывел бы в своей драме двух особых персонажей, противопоставленных Фаусту. Тогда каждый из них на свой лад увлекал бы Фауста в блуждания по лабиринту его жизни. В том образе Мефистофеля, который создал Гёте, люциферические и ариманические черты, смешиваясь, не образуют единства. Это не только мешает читателю создать своей фантазией цельный образ Мефистофеля, но и ставило препятствия перед самим Гёте всякий раз, как он — на протяжении всей жизни — вновь принимался свивать нить своего поэтического повествования. Временами возникает вполне естественное желание, чтобы кое-что из сказанного или сделанного Мефистофелем было произнесено или исполнено каким-то другим

персонажем. Сам Гёте, несомненно, относил трудности, возникавшие при продолжении “Фауста”, на счет каких-то других причин; однако в его подсознании образ Мефистофеля раскалывался надвое, и это мешало развить образ Фауста и провести сквозь все столкновения с силами, враждебными человеческой жизни.

Против этих доводов можно выдвинуть лишь весьма поверхностное и тривиальное возражение, будто мы осмеливаемся исправлять Гёте. Выслушивая подобные упреки, мы не должны забывать о необходимости выяснить личное отношение Гёте к трагедии о Фаусте. Вспомним, что Гёте жаловался друзьям на оскудение творческих сил, — и это в тот момент, когда он уже подводил к концу “творение своей жизни”. Задумаемся, почему он, уже на склоне лет, нуждается в одобрении Эккермана как в некоем взбадривающем средстве для выработки плана продолжения “Фауста” — плана, который он собирался включить в третью книгу “Поэзии и правды”. Карл Юлиус Шрёер мог с полным правом сказать: «Без Эккермана мы, возможно, не имели бы ничего, кроме упомянутого плана, который, по всей вероятности, был бы чем-то вроде “Схемы продолжения” “Внебрачной дочери”, которую [“Схему”. — А. Я.] включают в собрание сочинений. Мы хорошо знаем, что подобный план дал бы миру, — объект изучения

для историков литературы и ничего более»\*. Каким только причинам — возможным и невозможным — не приписывали приостановку в работе Гёте над “Фаустом”; противоречие, ощущаемое в образе Мефистофеля, пытались “разрешить” то в одну, то в другую сторону. Внимательному читателю Гёте нелегко согласиться ни с одним из этих подходов. Неужели остается лишь разделить мнение Якоба Минора, высказанное им в его книге “Goethes Faust”, вообще говоря, весьма интересной: «Гёте стоял <...> у порога своего пятидесятилетия, во время путешествия по Швейцарии у него вырвался, насколько я знаю, первый вздох по поводу приближающейся старости — в прекрасном стихотворении “Швейцарские Альпы”. Даже его, вечно юного, привыкшего лишь созерцать и созерцаемое воплощать в образы, стала занимать мысль — предвестник старческой мудрости. Истинный сын своего педантичного отца, он схематизирует и рубрицирует во время своего швейцарского путешествия, подобно тому как он делает это в “Фаусте»\*\*. Между тем наблюдение за жизнью свидетельствует и о том, что знание вещей, изображенных в “Фау-

\* Faust von Goethe. Mit Einleitung und fortlaufender Erklärung, hrsgg. von K.J. Schröer, 2. Tl., 3. Aufl., Leipzig 1896, S. XXX. — *Прим. Р.Штайнера.*

\*\* 2. Bd., Stuttgart 1901, S. 28. — *Прим. Р.Штайнера.*

сте”, приобретает лишь долгим жизненным опытом. Если же у Гёте поэтическая сила с годами иссякла, как вообще могло возникнуть подобное произведение?

Сколь это ни покажется кому-то странным, но внимательное изучение собственного отношения Гёте к “Фаусту”, разбор образа Мефистофеля подталкивают к мысли, что именно в этом персонаже таились трудности, мешавшие Гёте завершить главное творение своей жизни. Раздвоенность образа Мефистофеля давала себя знать где-то в тайниках его души, но она никогда не достигала порога его сознания. Поскольку же действия Мефистофеля должны были находить отражение в опыте Фауста, то описание жизни последнего постоянно наталкивалось на все новые препятствия; под влиянием двух непримиримых начал не могло родиться настоящего импульса для продолжения работы.

“Пролог на небесах”, который вместе с “Посвящением” и “Прологом в театре” составляет теперь начало первой части, был сочинен только в 1797 г. Из переписки Гёте и Шиллера, обсуждавших ход работы над трагедией, видно, что к этому времени Гёте переосмыслил основные силы, определяющие собою жизнь Фауста. Прежде все то, что находило выражение в образе Фауста, коренилось в сокровенной области его души, жаждущей совер-

шенствования и расширения жизни. Никаких иных импульсов, кроме внутренних, не было. "Пролог на небесах" уже ставит Фауста, как человека, одержимого высокими стремлениями, в связь со всем остальным миром. Духовные силы, давшие толчок мировому движению и поддерживающие его, показаны в их развитии, жизнь Фауста помещена в средоточие их согласных и в то же время противоположающихся действий. Именно таково — по крайней мере, в глазах самого поэта и читателей — положение Фауста в макрокосме, положение, к которому "ранний" Фауст, на доступном ему уровне познания, не стремится. Среди действующих сил мироздания "на небе" появляется Мефистофель. Именно в этот момент и проступает отчетливо его двойственная сущность.

Хитрец, среди всех духов отрицанья  
Ты меньше всех был в тягость для меня, —

говорит "Господь". Таким образом, во вселенской борьбе должны участвовать и другие "духи отрицанья". Справедливостью этой мысли подтверждается тем, что Мефистофель, который "на небе" просил:

От трупов я держуся в стороне.  
Нет, дайте мне здорового вполне:  
Таких я мертвецам всегда предпочитаю, —

в конце второй части вступает в схватку за те-

ло Фауста. Можно подумать, что в борьбе за Фауста "Господу" противостоит не один Мефистофель, а два духа: ариманический и люциферический. Ариманический дух больше заинтересован в "теле" Фауста, так как он есть дух наваждения. Всякое наваждение, по сути, коренится в материально-смертном начале, действующем уже при жизни человека. Познавательные силы человека, активность которых впрямую зависит от проявления тех импульсов, что в конце концов приводят его к смерти, — эти силы подвержены ариманическому наваждению. Им противостоят импульсы воли и чувства. Эти импульсы непосредственно связаны с молодой растущей жизнью. В детстве и юности они наиболее сильны. В старости они тем живее, чем больше юношеских порывов удалось сохранить в себе человеку. Они таят в себе возможность люциферического заблуждения. Люцифер вправе сказать о себе, что любит "здорового вполне"; Ариман скорее "предпочтет" мертвеца. "Господь" может сказать Ариману: "Хитрец, среди всех духов отрицанья ты меньше всех был в тягость для меня". Ибо лукавство и наваждение имеют одну природу. И для "вечного" начала в человеке ариманическая сущность, господствующая над материальным и преходящим, представляет меньшую опасность, чем другая "отрицающая" сила, действующая в самой сердцевине человеческого существа. Вовсе не произвольная

фантазия заставляет нас видеть в Мефистофеле двойственную природу, об этом говорит непосредственное чувство, улавливающее двойственность в самом мирожизненном образе человека. Вероятно, некий голос из подсознания внушил Гёте смутную догадку, что противопоставление Фауста и Мефистофеля задает универсальный образ всей жизни, однако жизнь не захотела входить в эти рамки.

Если бы все вышесказанное сводилось к педантичному и сомнительному утверждению, будто Гёте должен был как-то иначе изобразить Мефистофеля, то на это очень легко было бы возразить. Достаточно было бы показать, что этот образ перекочевал в воображение Гёте из германской и скандинавской мифологии, сохранив свое законное единство. Что же касается "противоречивости" всякого живого образа, то, — не говоря уже о том, что все живое должно включать "вместе с жизнью — ее противоречия", — можно сослаться на ясные слова самого Гёте: "Если бы фантазия не создавала непостижимого для рассудка, ей была бы грош цена. Фантазия отличает поэзию от прозы, где может и должен хозяйничать рассудок"... Но нет, к нашему предмету все это не имеет отношения. Зато совершенно бесспорны слова, сказанные Карлом Юлиусом Шрёером: "Грандиозно-переливчатое, исполненное снисходительного юмора, мастерски рисующее своих героев на всюду проступающем фоне величайших во-

просов человечества <...> это поэтическое творение возвышает нас до молитвенного преклонения перед самыми святыми чувствами". Это и есть самое важное: все, что предстало его фантазии в "Фаусте", Гёте видел "на всюду проступающем фоне величайших вопросов человечества". Воззрения Шрёера, выросшие из основательного изучения Гёте и благородной любви ко всему его образу мыслей, совершенно неувязимы, поскольку никто не может упрекнуть Шрёера в том, что творение Гёте нужно ему лишь для развития его собственных абстрактных идей... Однако, поскольку Гёте всегда держал перед своим внутренним взором "фон величайших вопросов человечества", то традиционный образ "северного беса" развился у него до некой двойственной сущности, усмотреть которую внимательному наблюдателю жизни и мира поможет лишь познавательное созерцание того, каким образом человек включен в мировую целостность.

Тот образ Мефистофеля, который виделся Гёте в начале работы над трагедией, обусловлен Фаустовым неприятием смысла макрокосма. Конфликт, происходивший в душе Фауста, привел к борьбе против той враждебной силы, которая поражает человека изнутри и носит люциферический характер. Но Гёте понадобилось провести Фауста и через борьбу с силами

\* Faust von Goethe... S. XCIV. — Прим. Р.Штайнера.



внешнего мира. Чем более он приближался к завершению второй части, тем яснее становилась ему эта необходимость. И в сцене классической Вальпургиевой ночи, имеющей назначение подготовить настоящую встречу Фауста с Еленой, мировые силы, макрокосмический ход событий вступают во взаимосвязь с реальным опытом человека. Вмешавшись в эту взаимосвязь, Мефистофель по необходимости принимает ариманический характер. Природоведческая позиция Гёте позволила ему перебросить мост между событиями мирового порядка и развитием отдельной личности. Именно такова роль "Классической Вальпургиевой ночи". Художественную ценность последней в состоянии оценить лишь тот, кто постигнет, насколько полно удалось Гёте в этой сцене поэтически преобразить свои естественнонаучные воззрения, не оставив и следа понятийно-абстрактной схемы, и переплавить их в образы, рожденные фантазией. Упреки в том, что "Классическая Вальпургиева ночь" все же — досадным образом — сохраняет в себе элементы отвлеченных научных теорий, суть не более чем эстетическое недоразумение. И, возможно, в еще большей степени Гёте удалось осуществить связь между сверхчувственным ходом мировых событий и жизненным опытом человека — в мощной финальной сцене второй части.

Кажется, более не может оставаться сомне-

ний: духовный склад Гёте на протяжении его жизни претерпел трансформацию, благодаря которой двойственная сущность античеловеческих мировых сил открылась его внутреннему взору, и в процессе работы над своим творением он ощутил необходимость преодоления его начала, чтобы в итоге *жизнь* обратила Фауста к макрокосму, который он же сам когда-то отверг из-за односторонности своего *познания*.

Какой спектакль! Жаль — только лишь спектакль!

Но в этот спектакль включились силы всеобъемлющего мирового процесса. *Жизнь* вступила в свои права, ибо Фауст ставит перед собой такие цели, достичь коих можно лишь через внутреннюю борьбу, в противостоянии силам, побуждающим человека как часть мирового целого бороться и самому принимать вызов.

## Духовный склад Гёте сквозь призму сказки о зеленой змее и Лилии

В ТО ВРЕМЯ, когда завязывалась дружба между Шиллером и Гёте, Шиллер был увлечен идеями, отраженными в его "Письмах об эстетическом воспитании человека". В 1794 г. он как раз перерабатывал для "Ор" эти письма, первоначально предназначавшиеся для герцога Августенбургского. Все, что Гёте и Шиллер обсуждали тогда между собой в устных беседах и в переписке, примыкает к кругу идей, нашедших выражение в "Письмах". Мысль Шиллера билась над вопросом: какое состояние душевных сил человека отвечает достойному человеческому существованию в высшем смысле этих слов? "Можно сказать, что во всяком индивидуальном человеке, как бы по предрасположению и назначению, живет чистый идеальный человек, и великая задача его бытия заключается в том, чтобы при всех переменах согласоваться с его неизмен-

ным единством". Шиллер хотел перекинуть мост от человека как существа, погруженного в повседневную действительность, к идеальному человеку. Он усматривал в человеческой природе два побуждения: *чувственное* и *разумное*, которые, будучи развиты *односторонне*, препятствуют достижению идеального совершенства. Если верх берет чувственное побуждение, человек попадает во власть инстинктов и страстей. В его деятельность, освещенную сознанием, вмешиваются силы, омрачающие сознание. На нее ложится печать внутреннего принуждения. Если же равновесие нарушено в пользу разумного побуждения, человек начинает подавлять свои инстинкты и страсти, повинаясь необходимости, лишенной внутреннего тепла. В обоих случаях человек действует по принуждению. В первом его собственная чувственная природа понуждает духовную природу, во втором духовная природа — чувственную. Но в обоих случаях человек, самое существо которого находится посередине между чувственным и духовным, не получает полной свободы. Свобода обретается лишь гармоническим сочетанием двух названных побуждений. Чувственность нужно не подавлять, но облагораживать; инстинкты и страсти должны быть проинфильтрованы духовностью, так чтобы сами они

\* См.: Письмо четвертое. — *Прим. Р.Штайнера* ("Письма" цитируются в переводе Э.Л. Радлова. — *Прим. ред.*)

стали исполнителями воплощенного в них духовного. Разум же должен столь полно охватывать душевное в человеке, чтобы снять гнет инстинктивного и страстного и чтобы человек мог воплощать все советы разума, естественным образом пользуясь помощью инстинкта и страстей. “Когда мы страстно любим кого-либо, кто заслуживает нашего презрения, мы болезненно ощущаем *оковы природы*. Когда мы ненавидим кого-либо, кто заслуживает нашего уважения, тогда мы болезненно ощущаем *оковы разума*. Но когда он одновременно владеет и нашей склонностью и приобрел наше уважение, тогда исчезает принуждение чувства и принуждение разума, и мы начинаем его любить”. Человек, который оказался бы в состоянии явить в своей чувственности духовность разума, а в своем разуме — действие стихийной силы страсти, стал бы *свободной личностью*. Развитие свободной личности, по мысли Шиллера, должно стать основой гармонической общественной жизни. Проблема подлинно достойного человеческого существования взаимосвязана у Шиллера с проблемой устройства человеческого общества. Таков был *его собственный* ответ на те вопросы, которые поставила перед человечеством Французская революция — как раз в то время, когда у Шиллера формировался указанный круг мыслей.

\* См.: Письмо двадцать седьмое. — *Прим. Р. Штайнера*.

Гёте выразил глубокое удовлетворение, познакомившись с этими идеями. Вот что он писал Шиллеру 26 октября 1794 г. по поводу “Писем об эстетическом воспитании человека”: “Присланную рукопись я тотчас же прочел с великим удовольствием; я проглотил ее залпом. Подобно тому, как превосходный, отвечающий нашей природе напиток легко проскальзывает внутрь и уже на языке благодаря хорошему расположению нервной системы проявляет свое целительное действие, так были для меня приятны и благотворны эти “Письма”, да и могло ли быть иначе, раз я нашел в них изложенным столь связно и благородно именно то, что я уже давно признавал правильным, чем я частью жил, частью же хотел жить?”

То, чем хотел жить Гёте, чтобы по праву считать свое существование достойным, он находил в эстетических “Письмах” Шиллера. Отсюда ясно, что в уме его уже зародились мысли, которые он, на свой лад, развивал в том же направлении, что и Шиллер. Из этих мыслей выросло загадочное произведение, которое получило столь многочисленные толкования: “Сказка”, напечатанная в “Орах” в 1795 г. и завершившая собою цикл “Разговоры немецких беженцев”. Эти “Разговоры”, как и Шиллеровы эстетические “Письма”, тесно

\* Перевод М. Вахтеровой.

связаны с тогдашней политической обстановкой во Франции. Чтобы объяснить эту “Сказку”, нужно не примысливать к ней посторонние идеи, а обратиться к представлениям, владевшим Гёте в то время.

Свод важнейших попыток истолкования “Сказки” можно найти в книге Фридриха Майера фон Вальдека “Goethes Märchendichtungen”. Впрочем, со времени появления книги к прежним попыткам прибавились новые\*.

Нам придется искать ключевую мысль “Сказки” в “Разговорах немецких беженцев”, которые этой сказкой завершаются. В “Разговорах...” Гёте изобразил семью, спасающуюся бегством из опустошенной войной местности. В беседах, которые ведут между собой члены этой семьи, отразились размышления Гёте, возникшие благодаря общению с Шиллером и

\* Heidelberg, Carl Wintersche Universitätsbuchhandlung 1879. — Прим. Р.Штайнера.

\*\* Я попытался постичь дух этой “Сказки”, исходя из всей совокупности гётевских воззрений, как они сложились у него в 1790-х гг.; результаты своих изысканий я представил в докладе, прочитанном 27 ноября 1891 г. на заседании Венского гётевского общества. Многое из сказанного мною получило затем развитие в различных направлениях. Однако все напечатанное или высказанное мною относительно “Сказки” есть лишь продолжение мыслей, изложенных в этом докладе. Выпущенная в 1910 г. драма-мистерия “Врата посвящения” также написана под влиянием этих размышлений. — Прим. Р.Штайнера.

знакомству с вышеупомянутыми идеями последнего. Все разговоры вращаются вокруг двух полюсов мысли. В одном из них сосредоточены все те представления человека, с помощью которых он надеется уловить связь между событиями, вторгающимися в его жизнь, но необъяснимыми исходя из законов чувственного мира. Истории, которые в связи с этим рассказываются, — это отчасти рассказы о привидениях, отчасти — повествования о событиях, как будто бы обнаруживающих “чуждое” там, где должны были бы действовать природные закономерности. В действительности Гёте создал эти этюды не из особой склонности к суевериям, но из куда более глубоких побуждений. Он отнюдь не получал удовольствия от мистического чувства, охватывающего иных людей, когда они слышат о чем-то таком, что наш “ограниченный”, основанный на естественных закономерностях разум будто бы “не в состоянии разъяснить”. Однако он вновь и вновь задавался вопросом: способна ли человеческая душа освободиться от представлений, обусловленных лишь чувственным восприятием, и отдаться духовному созерцанию сверхчувственного мира? Ведь может быть и так, что влечение к подобной деятельности познания есть естественное человеческое влечение, в основе которого — взаимосвязь с этим сверхчувственным миром, скрытая от внешних чувств и обращенного к ним рассудка. И склонность ко

всяческим переживаниям, по видимости нарушающим закономерность природного мира, возможно, не что иное, как детское заблуждение души, искажившей нормальный человеческий порыв к духовному миру. Гёте больше интересовало само направление, в котором развивается деятельность души, склонной к культивированию суеверий, чем конкретное содержание рассказов, родившихся из этой ребяческой склонности.

Второй полюс, второй источник представлений связан с моральной жизнью человека — жизнью, стремление к которой рождается не в чувственной сфере, но зиждется на импульсах, поднимающих человека над областью чувственного, туда, где душа человека испытывает мощный прилив сверхчувственных сил.

Из обоих этих полюсов мысли исходят лучи, которые должны уходить в область сверхчувственного. И из них же рождаются вопросы относительно внутреннего существа человека, относительно связи человеческой души, во-первых, с чувственным миром, а во-вторых, с миром сверхчувственным. Шиллер в своих эстетических “Письмах” рассматривает эти вопросы как философ; для Гёте абстрактно-философский путь неприемлем; все, что он хочет сказать по этому поводу, у него должно быть воплощено в *образах*. Именно так и возникла сказка о зеленой змее и Лилии. В гётевской фантазии разнообраз-

ные силы человеческой души превратились в сказочных персонажей, и в переживаниях и взаимоотношениях этих персонажей получили воплощение жизнь души и все душевные стремления человека... После всего сказанного мы должны быть готовы к упреку, будто подобный подход изымает поэтическое произведение из области художественной фантазии и превращает его в сухое воплощение абстрактных понятий, меж тем как действующие лица теряют связь с реальной жизнью и становятся искусственными символами, а подчас и аллегориями. Упрек этот основан на представлении, что человеческая душа, коль скоро она покинула область чувственного, может иметь лишь абстрактные идеи. Упускается из виду, что наравне с чувственным может существовать и вполне живое *сверхчувственное* созерцание. И Гёте вместе с персонажами своей “Сказки” оказывается не в царстве абстрактных представлений, а в области сверхчувственных созерцаний. Все, что здесь говорится об этих персонажах и их приключениях, не следует понимать так, будто мы утверждаем: вот то-то *означает* одно, а вот это — другое. Мы далеки от символического толкования, насколько это вообще возможно. Для нас старец с лампой, болотные огни и т. д. суть не что иное, как порождения фантазии — чем они и являются в “Сказке”. Мы

---

лишь хотим выяснить, каковы те мысленные импульсы, которые воодушевили фантазию поэта на создание таких образов. Разумеется, эти импульсы не существовали для сознания Гёте в абстрактной форме. Поскольку при его духовном складе они должны были в таком виде показаться ему чересчур бедными содержанием, он предпочел высказаться в форме образов, рожденных фантазией. Мысленный импульс господствует в глубинных слоях гётевской души, результатом же является образ из мира фантазии. Мысль здесь, как промежуточная ступень, существует лишь в подсознании и задает направление работе фантазии. Читателю гётевской "Сказки" нужно понять содержание этой мысли, иначе он не сможет настроить свою душу таким образом, чтобы она с помощью подражательной фантазии следовала за творческой фантазией Гёте. Проникновение во внутреннее содержание этой мысли можно уподобить приобретению неких органов, позволяющих читателю окунуться в тот воздух, коим дышал дух Гёте, когда создавалась "Сказка". Или настройке взгляда на созерцание мира человеческой души, который созерцал Гёте и откуда явились ему — не философские идеи, но живые духовные образы. Все, что живет в этих духовных образах, живет и в человеческой душе.

---

Некоторые особенности миропонимания, отразившиеся в "Сказке", видны уже в "Разговорах немецких беженцев". Человеческая душа, как она здесь показана, ориентируется относительно двух мировых сфер — чувственной и сверхчувственной. Человек с достаточно глубокой натурой стремится поставить себя в должное отношение к обеим этим сферам, выработать в себе свободный, исполненный человеческого достоинства строй души, войти в гармоническую связь с другими людьми. Гёте почувствовал, что в самих "Разговорах" не нашло полного выражения все то, что ему удалось высветить в отдельных рассказах касательно отношения человека к обеим этим мировым сферам. У него возникла потребность создать масштабное сказочное произведение, в котором загадка человеческой души, приковывавшая к себе его мысль, рассматривалась бы на фоне бесконечного богатства духовной жизни... Стремление к подлинно достойному человеческому существованию, о котором говорил Шиллер и к которому стремился Гёте, олицетворено в образе юноши. Его брак с Лилией, воплощающей царство свободы, означает связь с теми дремлющими в человеческой душе силами, которые, будучи пробуждены в человеке, дают ему вкусить ощущение полной внутренней свободы.

Важным персонажем, в значительной степени влияющим на ход действия “Сказки”, является старец с лампой. Когда он, неся лампу, спустился в расщелину скалы, ему задают вопрос: какая из известных ему тайн является важнейшей? Он отвечает: “Явная”. Когда его просят сообщить эту тайну, он отвечает, что сделает это, как только узнает четвертую. Эту четвертую тайну знает зеленая змея. Она передает ее шепотом на ухо старику. Не подлежит сомнению, что тайна эта касается душевного состояния, по которому томятся все персонажи “Сказки” и которое изображается в самом ее конце. Образ этого состояния выражает связь человеческой души с господствующими в ее подпочве силами, что дает ей возможность так сбалансировать свои отношения с миром сверхчувственным (царство Лилии) и с миром чувственным (царство змеи), что теперь эта душа, со всеми ее переживаниями и со всей ее деятельностью, свободно открывает себя для воздействия со стороны обоих этих миров и, войдя в союз с ними обоими, обретает способность проявить свое истинное существо. Приходится предположить, что старец владеет загадкой этой тайны, ведь он единственный из персонажей “Сказки”, кто стоит выше всех отношений и управляет всем происходящим. Так что же змея могла поведать старцу? Он знает, что ей предстоит пожертвовать собою, когда приблизится вожденное конечное состоя-

ние. Но *это* его знание еще ничего не решает. Зная все, он тем не менее должен ждать, пока змея всем своим существом созреет до решимости совершить жертву... Жизнь человеческой души целиком подвержена действию силы, от которой зависит развитие человека до состояния свободной личности. Сила эта сказывается лишь *на пути* к этому состоянию. Едва только оно бывает достигнуто, как она теряет свое значение. Роль ее состоит в том, чтобы привести человеческую душу в тесную связь с жизненным опытом. Все, что открывается душе посредством науки или самой жизнью, она претворяет в жизненную мудрость. Она способствует созреванию души, приближению ее к желанной духовной цели. По достижении ее эта сила сразу теряет свое значение, поскольку она ставит человека в определенные отношения с внешним миром. Но по достижении цели все внешние импульсы преобразуются во внутренние побуждения души. В этот момент упомянутая сила должна пожертвовать собою; она должна прекратить свое воздействие; должна, подобно ферменту, пропитывающему всю остальную часть души, продолжить свое существование в преображенном человеке — но без собственной жизни. Духовное зрение Гёте было особенно восприимчиво к проявлениям этой силы в жизни человека. Он усматривал ее проявления в опыте науки и в опыте самой жизни. Но не в тех случаях, когда человек ста-

вит перед собою отвлеченную цель, руководствуясь априорным мнением или теорией. Цель должна рождаться прежде всего из жизненного опыта. При известной зрелости опыт сам должен произвести из себя цель. Опыт нельзя исказить в угоду заранее выбранной цели. Душевная сила, о которой идет речь, воплощена в образе зеленой змеи. Она поглощает золото, то есть воспринимает мудрость, исходящую из опыта жизни и науки; душа должна усвоить эту мудрость, чтобы слиться с нею в одно. Эта душевная сила должна в надлежащий момент пожертвовать собою; она приводит человека к его цели — состоянию свободной личности. О том, что она *хочет* принести себя в жертву, и говорит змея на ухо старцу. Таким образом, она поверяет ему тайну, которая теперь открыта, но не имеет для него ценности, пока не будет осуществлена свободным решением змеи. Если упомянутая сила говорит человеку о том же, о чем змея прошептала старцу, значит, *“пришла пора”* для души пережить жизненный опыт как жизненную мудрость, которая создает гармонию чувственного и сверхчувственного.

Желанная цель достигается оживлением юноши, обездвиженного и убитого тем, что его не в должный час коснулось сверхчувственное (Лилия), — а также соединением юноши с Лилией в тот момент, когда змея (жизненный опыт души) приносит себя в жертву.

Вслед за тем приходит и время, когда душа уже может строить в себе мост между двумя берегами потока. Этот мост возникает из плоти самой змеи. Жизненный опыт отныне утрачивает собственную жизнь, перестает быть направленным исключительно на чувственный мир. Он превращается в душевную силу, которую не используют сознательно как таковую, но которая действует в человеке лишь постольку, поскольку чувственное и сверхчувственное начала в нем взаимно согреваются и освещают друг друга... Хотя подобное состояние возникает благодаря змее, все же она не может вручить юноше тех даров, с помощью которых он вступил бы во владение вновь основанным царством души. Он получает их от трех королей. От медного короля — меч с наказом: “Меч ошу, десница свободна”. Серебряный король вручает ему скипетр со словами: “Паси овец своих”. Золотой король возлагает на его голову дубовый веночек, промолвив при этом: “Познай высочайшее”. Четвертый король, состоящий из смеси трех металлов: меди, серебра и золота, превращается в бесформенную массу... В человеке, находящемся на пути к состоянию свободной личности, действуют смешанно три душевные силы — воля (медь), чувство (серебро) и познание (золото). То, что душа обретает благодаря трем названным силам, жизненный опыт открывает для себя постепенно, по их прояв-



лениям: сила, служащая добродетели, открывается воле, красота (прекрасная видимость) — чувству, мудрость — познанию. От “свободной личности” человека отделяет как раз смешанное действие в его душе трех названных сил; он станет свободной личностью в той мере, в какой сможет совершенно осознанно воспринять дары этих сил — каждый в его особом качестве — и собственностью своей сознательной и свободной деятельностью *самостоятельно* связать их в своей душе. Тогда распадется прежде угнетавшее его хаотическое смешение даров воли, чувства и познания.

Король мудрости — золотой. Всюду, где в “Сказке” упоминается золото, оно является одной из форм воплощения мудрости. О том, каково действие мудрости в жизненном опыте, в конце концов жертвующем собой, мы уже говорили. Но и болотные огни на свой лад завладевают золотом. Каждый человек несет в себе определенные душевные задатки (у некоторых они получают столь одностороннее развитие, что едва ли не подменяют собою всю сущность человека), с помощью которых он извлекает возможную мудрость из науки и из жизни. Но из этих душевных задатков не вытекает стремление слить мудрость с жизнью души; они остаются односторонним знанием, средством утвердить одно и подвергнуть критике другое, они придают

блеск личности либо утверждают ее одностороннее значение. Нет в этих задатках и стремления восполнить свою односторонность внешним опытом. Они превращаются в суеверия, свойственные у Гёте “беженцам” — рассказчикам историй с привидениями, — происходит это от нежелания соразмерить себя с природным началом. Они превращаются в доктрину, не обретая жизни внутри души. Они суть то, что хотят провести в жизнь лжепророки и софисты, и совершенно чужды гётевской максиме: чтобы существовать, нужно отказаться от существования. Змея, олицетворяющая самозабвенный жизненный опыт, который обнаруживает себя как любовь к мудрости, как жизненная мудрость, отказывается от существования, чтобы стать мостом между чувственным и сверхчувственным.

Юноша повинуется непреодолимому желанию, влекущему его в царство прекрасной Лилии. Каковы же особые черты этого царства? Какая бы глубокая тоска по царству Лилии ни томила человека, он может достигнуть его лишь в определенное время суток — когда построен мост, ведущий туда. В полдень, еще до своего самопожертвования, змея образует своим телом как бы временный мост в царство сверхчувственного. Вечером же и утром через реку, разделяющую область чувственного и сверхчувственного и олицетворяющую силы представления и воспоминания, можно пере-

браться с тенью великана. Каждый, кто приближается к владычице сверхчувственного царства, не будучи внутренне готов к этому, пострадает — как это случилось с юношей. Лилия также тоскует по противоположному царству. Перевозчик, переправивший болотных огней через реку, может перевозить всякого лишь в одну сторону — из царства сверхчувственного, но не обратно.

Тот, кто хочет ощутить прикосновение сверхчувственного, прежде всего должен, опираясь на жизненный опыт, неустанной работой приспособить свою душу к этому сверхчувственному, постичь же его можно лишь в свободе. “Изречения в прозе” содержат следующее высказывание Гёте по этому поводу: “Все, что освобождает наш дух, но не дает нам власти над самими собой, пагубно”. А вот другое его изречение: “*Долг* — это любовь человека к тому, что он сам себе предписывает”. Царство односторонне действующего сверхчувственного (по Шиллеру, односторонне разумного побуждения) — это царство Лилии; царство односторонне действующей чувственности (у Шиллера — чувственное побуждение) — это царство, в котором живет змея до своего самопожертвования... В это последнее царство перевозчик может доставить всякого, в обратном же направлении он не перево-

\* Перевод С.А. Ошерова.

зит никого. Все люди, хотя в этом и нет их заслуги, родом из области сверхчувственного. Но восстановить свободную связь с этим сверхчувственным, совершенно независимую от “времени”, т. е. от произвольных душевных состояний, человек может лишь тогда, когда захочет ступить на мост, возникающий в результате жертвования жизненным опытом. Прежде этого существуют два произвольно наступающих душевных состояния, посредством которых человек может достичь сверхчувственного царства, или, что *одно и то же*, царства свободной личности. Первое душевное состояние определяется творческой фантазией, которая есть отблеск сверхчувственного опыта. В искусстве человек связывает между собой сверхчувственное и чувственное. В искусстве он проявляет себя через свободное творчество души. Это символизирует образ переправы, которую змея (неподготовленный к сверхчувственному переживанию жизненный опыт) устраивает в полдень... Другое душевное состояние наступает, когда сознание человеческой души, этого великана в человеке, во всем подобном макрокосму, подавлено, когда сознательное познание затемнено и парализовано и проявляется лишь в виде суеверия, визионерства, медиумизма. Сила души, которая таким образом действует при парализованном сознании, есть в глазах Гёте та самая сила, что хочет привести человека к свободе

посредством принуждения и произвола, т. е. революционным путем. В революциях всегда заявляет о себе глухой порыв к идеалу — как в сумерках тень великана, перекрывающая поток. О том, что и *такой* взгляд на образ великана имеет право на существование, свидетельствует письмо Шиллера от 16 октября 1795 г. к Гёте, совершавшему путешествие, которое должно было закончиться во Франкфурте-на-Майне: “Право, мне приятно знать, что вы еще далеко от майнских распрей. Тень великана невзначай могла бы потревожить и вас”. Следствия произвола, необузданной гонки исторических событий, как и сумеречное состояние человеческого сознания, выражены в образе великана и его тени. Состояния души, вызывающие подобный ход событий, и в самом деле сродни тяге к всяческому суеверию и мечтательному идеологизму.

Лампа старца имеет свойство светить лишь там, где уже есть другой свет. Это сразу напоминает повторенное Гёте высказывание одного древнего мистика:

Будь несолнечен наш глаз —  
 Кто бы солнцем любовался?  
 Не живи дух Божий в нас —  
 Кто б божественным пленялся?\*

\* Перевод Э. Фельдман.

\*\* Перевод В.А. Жуковского.

И подобно тому, как лампа старца не светит в темноте, свет мудрости и познания не светит никому, кто, не имея в себе необходимого органа, не обращает навстречу свой внутренний свет. Наше представление об этой лампе уточняется, если мы заметим, что, хотя она и может присущим ей образом осветить то, что змея выносила в себе как окончательное решение, все же она должна была сначала почувствовать решимость змеи. Существует познание, которое неизменно сосредоточено на высших стремлениях, свойственных человеку. По мере развития исторической жизни человечества это познание возрастало во внутреннем опыте многих душ. Однако предмет этого познания, конечная цель человеческих стремлений в ее конкретной реальности, постигается лишь через жертвование жизненным опытом. Все, чему может научить человека исследование исторического прошлого, что говорит ему мистический и религиозный опыт о его собственной связи с миром сверхчувственного, — все это реально осуществляется лишь через пожертвование жизненным опытом. С помощью своей лампы старец может преобразить всякую вещь так, чтобы она предстала в новой, жизнепригодной форме, но истинное развитие зависит лишь от вызревания жизненного опыта.

Жена старца — личность, которая собственным телом ручается за свой долг реке. В образе этой женщины воплощена как способность

человеческого восприятия и представления, так и память человечества о своем историческом прошлом. Она — помощница мужу. В том, что он обладает источником света, освещающим все уже просветленное внешней реальностью, есть и ее заслуга. Однако способность представления и воспоминания не образует жизненного единства с теми конкретными и реальными силами, которые направляют развитие каждого отдельного человека и ход исторической жизни всего человечества. Способности представления и воспоминания прикованы к прошлому, они консервируют прошлое, превращая его в судию всякого развития и становления. Стихия всего, что закреплена силой воспоминания, стихия, где протекает жизнь человека и всего человечества, содержит в себе отражение этой душевной силы. В Третьем эстетическом письме Шиллер пишет об этом: “Принужденный потребностями, он [человек. — *Р. III.*] очутился там [в государстве. — *Р. III.*] прежде, чем свободно мог избрать такое положение; необходимость создала государство по простым законам природы ранее, чем он мог сделать то же самое по законам разума”. Река разделяет оба царства — царство свободы в сверхчувственном и царство необходимости в чувственном. Несознаваемые душевные силы (перевозчик) переносят человека из сверхчувственного, откуда он родом, в чувственное. Теперь он принужден жить в мире, внутри кото-

рого все отношения заданы способностями воспоминания и представления. Но они отделяют его от сверхчувственного. Вынужденный прибегать к силам (воплощенным в образе перевозчика), которые неизвестным ему самому образом перенесли его из сверхчувственного в чувственное, человек ощущает себя в долгу перед силами воспоминания и представления. Лишь тогда сможет он сбросить с себя гнет означенных отношений, лишаящий его свободы, когда он сам, с помощью “плодов земли”, т. е. накопленной жизненной мудрости, освободит себя от вины и принуждения со стороны этих отношений. Если же он не сможет этого сделать, тогда сами эти отношения (вода реки) лишат его личной человеческой мудрости. Тогда он сгинет в собственном “я” своей души.

Над рекой воздвигнут храм, в котором совершается бракосочетание юноши и Лилии. В душе, сумевшей привести свои силы в новый строй, возможен брак со сверхчувственным, т. е. осуществление свободной личности. Все накопленное душой в качестве жизненного опыта созревает настолько, что сила, направленная на этот жизненный опыт, более не исчерпывает себя лишь тем, что включает человека в порядок чувственного мира, теперь она превращается в содержимое того потока, который может излиться в человека из области сверхчувственного, так что действие в сфере чувственного становится проводником сверх-

чувственных импульсов... При подобной душевной организации даже те силы человеческого духа, что ранее развивались в ложном направлении или односторонне, приобретают теперь новое значение, соответствующее более высокой ступени сознания. Так, например, оторвавшаяся от чувственного мира и заблудившаяся в дебрях суеверия и хаотической мысли мудрость болотных огней служит тому, чтобы отворять врата храма, воплощающего такое состояние души, при котором воля, чувство и познание, находясь еще в беспорядочном смешении, удерживают внутреннюю жизнь человека в несвободе и отделенности от сверхчувственного.

В сказочных образах рассматриваемого произведения Гёте изобразил представшее его духовному взору развитие человеческой души — от такого состояния, когда она ощущает свою чуждость миру сверхчувственного, до столь высокой ступени сознания, на которой жизнь, совершающаяся в пределах чувственного мира, бывает насквозь проникнута сверхчувственным духовным миром, так что оба они становятся как *одно*. Этот процесс преобразования предстал перед Гёте в виде легкой вязи сказочных образов. Вопрос о соотношении физического мира со свободным от физических ощущений опытом сверхчувственного вместе с вытекающими отсюда выводами касательно устройства человеческого общества

пронизывает все “Разговоры немецких беженцев”, здесь же, в сказочном завершении “Разговоров”, этот вопрос получает окончательное разрешение в переплетающихся между собой поэтических образах. В этих заметках лишь отчасти намечен путь, ведущий в те пределы, где гётевская фантазия сплела свою “Сказку”. Все остальные подробности, вплоть до самых тонких, сможет уяснить себе каждый, кто увидит в этой сказке изображение человеческой души, стремящейся к сверхчувственному. Именно как изображение человеческой души воспринял “Сказку” Шиллер. Он писал: “Сказка” достаточно пестра и весела, и я нахожу, что упомянутая Вами как-то раз идея “взаимодействия и взаимосвязи сил” воплощена здесь очень искусно». Ибо даже если кто-то возразит, что под “взаимодействием сил” имеются в виду силы *разных* людей, все же справедлива и та очевидная для Гёте истина, что силы души, порождённые распределённые по отдельным людям, суть не что иное, как разъятая на части сущность одного целостного характера. И когда в общественной жизни совместно действует множество разных людей, в их взаимодействии представлен лишь образ многообразных сил, которые всей совокупностью встречных отношений образуют индивидуальный человеческий характер.

РУДОЛЬФ ШТАЙНЕР

«ТАЙНЫ»

РОЖДЕСТВЕНСКО-ПАСХАЛЬНАЯ  
ПОЭМА ГЁТЕ

Лекция перед членами  
Теософского общества, прочитанная  
в Кёльне 25 декабря 1907 г.

**В**СЯКИЙ, кому довелось побывать нынешней ночью в Кёльнском соборе, мог видеть три светящиеся буквы: *СМВ*. Они означают, как известно, имена так называемых трех святых царей, по церковной традиции — Каспара, Мельхиора, Валтасара. Что же касается Кёльна, то здесь эти имена будят особые воспоминания. Согласно старинной легенде, три святых царя впоследствии приняли епископский сан, а после их смерти — через много-много лет — останки их были перенесены в Кёльн. С этой легендой связана другая, рассказывающая о том, как однажды в Кёльн приехал король Дании и привез с собою три короны для святых царей. По возвращении домой он увидел сон. Ему явились три царя и вручили три кубка: с золотом, ладаном и смирной. Когда он проснулся, цари исчезли, но перед ним стояли кубки с дарами, полученными во сне.

Эта легенда исключительно глубока по своему содержанию. В ней, по сути, рассказывает о том, что датский король, вознесшись во сне, смог заглянуть в духовный мир и постичь символическое значение трех царей, трех восточных волхвов, принесших в дар младенцу Христу Иисусу золото, ладан и смирну. В результате он стал обладателем непреходящего достояния, трех человеческих добродетелей, символизируемых тремя дарами: золоту соответствует самопознание, ладану — глубочайшее внутреннее смирение, или самоотверженность, смирне — самосовершенствование и саморазвитие, а также охранение вечного начала в себе самом.

Как же стало возможно, что датский король получил из другого мира три названные добродетели? Это стало возможно потому, что он попытался всей своей душой вникнуть в значение символа, скрытого в образе трех царей, принесших дар Христу Иисусу.

Христианская легенда имеет великое множество черт, помогающих нам глубоко проникнуть в многообразные смыслы, содержащиеся в самом принципе Христа, и в то, как он должен действовать в этом мире. К числу знаменательнейших ее моментов принадлежит поклонение и жертвоприношение трех восточных царей-волхвов, и, не углубив своего понимания, мы не имеем права приступить к толкованию этой древнейшей сим-

волики христианской традиции. Согласно более поздним представлениям, волхвы ассоциируются с тремя человеческими расами: азиатской, европейской и африканской. Те, кто понимал христианство как религию мировой гармонии, усматривали в рассказе о поклонении волхвов слияние различных течений и религиозных направлений, существующих в мире, в единый принцип — принцип Христа.

Люди, которые еще в то время, когда эта легенда сложилась в ее нынешнем виде, постигли мистериальные начала эзотерического христианства, видели в принципе Христа не просто некую силу, вмешавшуюся в историческое развитие человечества; в существе, воплотившемся в Иисусе из Назарета, они прозревали космическую, мировую силу, далеко превосходящую все чисто человеческое, возобладавшее в наше время. В принципе Христа они видели силу, представляющую идеал человека далекого будущего, однако такой, к которому можно приближаться лишь по мере духовного постижения мира. В человеке они видели прежде всего малое существо, малый мир, микрокосм, т. е. образ макрокосма, большого всеобъемлющего мира, содержащего в себе все, что человек воспринимает с помощью внешних органов чувств — глаз, ушей и т. д., но также и то, что он постигает своим духом, как на низшей ступени, так и на ступени

ясновидения. Ибо именно так предстával мир христианскому эзотерику первых веков. Во всем происходившем на небесах и на земле, в раскатах грома и в блеске молнии, в буре, дожде и солнечном сиянии, в движении ночных светил, в восходе и заходе солнца и луны — во всем этом он видел некий жест и мимику, внешнее проявление глубинных духовных процессов.

Христианин-эзотерик видит в мироздании подобие человеческого тела. Человеческое тело для него распадается на отдельные члены: голову, руки, ноги и т. д. Он отдельно воспринимает движения рук, глаз, мышц лица, но все отдельные члены вместе с их движениями являются для него выражением внутренних духовно-душевных переживаний. И подобно тому как в отдельных членах человеческого тела и их движениях христианский эзотерик прозревает вечное и душевное, так и в движении звезд, в излучаемом ими свете, в восходе и заходе солнца и луны он усматривает внешнее выражение духовно-божественных сущностей, наполняющих все пространство. Явления природы для него — деяния богов, жесты богов, мимика божественно-духовных сущностей. Но и все то, что происходит внутри человеческого рода — когда человек закладывает основы социальных общностей, подчиняет себя моральным заповедям, устанавливает законы взаимных

отношений, использует силы природы в качестве своего инструмента, но таким образом, каким сама природа непосредственно не дала бы этого сделать, — словом, все то, что более или менее неосознанно делает человек, для христианина-эзотерика было внешним выражением внутреннего божественно-духовного господства.

Но эзотерическое христианство не остановилось на столь общих формах, оно обращало внимание на совершенно определенные отдельные жесты, отдельные приметы мировой физиогномии, мировой мимики и в этих отдельных приметах усматривало особое выражение духовного. Человек указывал на солнце и говорил: солнце — это не просто внешнее, физическое тело. Внешнее, физическое тело солнца есть тело душевно-духовной сущности, господствующей над другими душевно-духовными сущностями, которые управляют всеми земными судьбами, всеми внешними, природными процессами земли, но также и всем тем, что происходит в общественной жизни людей, в их взаимных законообразных отношениях... Именно так христианин-эзотерик почитал в солнце наружное проявление Христа. Прежде всего Христос был для него Душою Солнца, он считал, что изначально солнце было телом Христа, однако люди, живущие на земле, да и сама земля еще недостаточно созрели для восприятия духовного



света, Света-Христа, излучаемого солнцем. Поэтому сначала людям нужно было подготовить себя к восприятию Света-Христа.

Когда же христианин-эзотерик смотрел на луну, то замечал, что она светит отраженным светом солнца, более слабым, чем прямой солнечный свет, и говорил себе: "Когда я смотрю телесными очами на солнце, меня ослепляют его сияющие лучи, луна же не ослепляет меня, потому что посылает ослабленный свет"... В этом ослабленном солнечном свете, посылаемом луной на землю, христианин-эзотерик усматривал физиогномическое выражение древнего принципа Иеговы, выражение древней законнической религии. И он говорил себе: "Прежде чем начало Христа, Солнце Праведности, смогло явиться на земле, надлежало, чтобы начало Яхве предварило его, смягчив свет праведности своим законом".

Итак, для христианина-эзотерика принцип Яхве, т. е. древний Закон (духовный свет луны), заключал в себе отраженный духовный свет более высокого, Христова принципа. Как и исповедники древнейших мистерий, христианин-эзотерик вплоть до глубокого средневековья в образе солнца видел выражение духовного света, Света-Христа, правящего землей, в образе луны — отражение этого света, который в своем непосредственном виде мог бы ослепить человека. Саму землю христианин-эзотерик, как и исповед-

ники древних мистерий, воспринимал как нечто такое, что временами затеняет и заслоняет от него ослепляющий солнечный свет духа. В теле земли он также видел физическое проявление духа, как и во всяком другом теле. Всякий раз, когда солнце зримо освещает землю своими лучами, когда с весны и до конца лета оно льет вниз свой свет и поднимает из земли буйные ростки жизни, когда затем оно достигает своей высшей точки в долгие летние дни, — христианскому эзотерику представляется, что солнце пестует эту внешнюю, всюду произрастающую природную жизнь. В растениях, выбивающихся из почвы, в животных, которые в эту пору достигают высшей плодovitости, он усматривает тот же самый принцип — с внешней, физической его стороны, — что и в тех сущностях, для которых солнце является внешним выражением. Затем, когда дни становятся короче и приближается осень, а вслед за ней зима, христианин-эзотерик говорит: солнце все более и более отнимает свою силу от земли. Но в той же мере, в какой физическая сила отнимается от земли, прибывает духовная сила, которая достигает полноты в период самых коротких дней и самых длинных ночей — во время, отмеченное позже праздником Рождества... Эту духовную силу солнца человеку видеть не дано. Он увидел бы ее — так утверждает христианский эзотерик, — если бы сам

обладал внутренней силой духовного созерцания. И еще: христианский эзотерик обладал знанием того, что составляло предмет основополагающего убеждения и знания учеников мистерий — от древности до недавнего прошлого.

В те ночи, которые ныне отмечены праздником Рождества, ученики мистерий проходили подготовку к духовному созерцанию, учились внутренним, духовным образом видеть то, что в эту пору, с точки зрения природной силы, максимально убывало на земле. В долгую рождественскую ночь ученик бывал доведен до такого состояния, что в полночь ему могло быть видение. Земля переставала закрывать солнце, находящееся за ней. Она становилась для него прозрачной. Он видел сквозь прозрачную землю духовный свет солнца, Христов свет. Этот факт, передающий духовный опыт учеников мистерий, получил и словесное выражение — «видеть солнце в полночь».

В некоторых местностях церкви, весь день открытые, в полдень запираются. Этот обычай в христианстве связывают с традициями древнейших вероучений: в глубокой древности опыт учеников мистерий свидетельствовал о том, что в полдень, когда солнце достигает высшей точки, боги спят и самым глубоким их сон бывает летом, когда физическая сила солнца выше всего. Но в рождествен-

скую ночь, когда внешняя физическая его сила ослабевает, боги вполне просыпаются.

Мы видим, что все существа, стремящиеся развить свою внешнюю физическую силу, обращаются к весеннему солнцу, чтобы воспринять от него эту силу. Но именно в летний полдень, когда физическая сила солнца с наибольшей полнотой изливается на землю, духовная его сила бывает слабее всего. В зимнюю же полночь, в пору ослабления физической силы солнца, человек может видеть Дух Солнца сквозь землю, становящуюся для него прозрачной. Христианин-эзотерик чувствовал, что, погружаясь в христианскую эзотерику, он все более овладевает силой внутреннего видения, позволяющей ему проникнуть взглядом внутрь духовного солнца и преисполнить его созерцанием свои ощущения, мысли и волевые побуждения. После чего ученик мистерий бывал удостоен видения, имеющего подлинную реальность: пока земля остается непрозрачной, кажется, что отдельные ее части заселены людьми, исповедующими разную веру, — и нет уз, которые могли бы объединить их. По всей земле, сообразно различным климатическим условиям, рассеяны разные человеческие расы, столь же разнообразны человеческие убеждения — и не существует звена, объединяющего их. Но по мере того, как люди начинают силой внутреннего видения сквозь землю прозревать солнце, по

мере того как луч этой звезды проникает для них сквозь землю, все вероисповедания соединяются в огромное и единое братство. Личности, которые привели разрозненные массы к истине высших планов бытия, к посвящению в высшие миры, были названы магами (волхвами). Их было трое, ибо в разных местах земли проявляли себя разнообразнейшие силы. А потому и человечество следовало вести к цели самыми разнообразными средствами. Но как объединяющая сила явилась звезда, взошедшая за горизонтом земли. Она свела разрозненных людей воедино, и тогда они принесли жертвенные дары физическому воплощению этой солнцезвезды, явившейся им как звезда мира\*. Так космически-человеческая религия мира, гармонии, вселенского умиротворения и человеческого братства была космически-человеческим образом увязана с древними магами, сложившими к колыбели воплощенного Сына Человеческого лучшие дары, предназначенные ими всему человечеству.

Легенда чудесно передает это, рассказывая, что король Дании возвысился до познания трех волхвов-царей и, когда это случилось, они отдали ему три своих дара: дар мудрости в самопознании, дар самоотверженного смирения, или самоотречения, и дар победы жизни

\* "Мир" в значении "покой", "согласие". — А.Я.

над смертью силой вечного в своем "я" и охранения в себе этого вечного начала.

Все, кто воспринял христианство именно таким образом, увидели в нем духовнонаучную идею объединения религий. Ибо они придерживались взгляда, вернее, твердого убеждения, что всякий постигший христианство именно так может в своем развитии достичь высшей ступени, до которой способно подняться человечество.

У немцев в последнее время именно так, эзотерически, понял христианство Гёте, и именно христианство такого типа, именно религиозное примирение и указанного типа теософия нашли отражение в его поэме "Тайны", которая, хотя так и осталась фрагментом, с глубоким проникновением показывает внутреннее развитие человека, исполненного вышеописанными чувствами и идеями.

Вначале Гёте рисует перед нами дорогу, на которую странником ступил этот человек, и показывает, как часто она может уводить в сторону от верного направления и как нелегко бывает человеку отыскать ее и что требуется терпение и самоотверженность, чтобы наконец достичь цели. Если человек обладает этими качествами, то он обретет свет, который ищет. Послушаем начало поэмы.

Вот, дивной песни приступ вам предложен.  
Сзывайте всех, внеслите сердцем ей!

Чрез горы и долины путь проложен,  
 Тут взор стеснен, а там ему вольней,  
 И если путь в лесу стал бездорожен,  
 Не мните заблудиться в чаще сей;  
 Мы можем все ж, избыв блужданий бремя,  
 Стать ближе к цели, как наступит время.

Но знайте, размышленье не поможет  
 Всей песни в целом разгадать значенье:  
 Быть в пользу многим многое здесь может,  
 Обильно матери-земли цветенье;  
 Век быстрый одного в печали прожит,  
 Другой же медлит в долгом наслажденьи:  
 Пусть каждый по желанью утолится, —  
 Для многих странников родник струится\*.

Такова ситуация, в которую мы введены.  
 Мы видим странника, и если бы мы попроси-  
 ли его рассказать об эзотерическом христи-  
 анстве, как оно описано выше, он не смог бы  
 вразумительно все это объяснить, но в его ду-  
 ше и сердце эти идеи живут, претворенные в  
 чувство. Нелегко обнаружить все то, что таин-  
 ственно скрывает это стихотворение, так и  
 названное — «Тайны». Гёте ясно показал: речь  
 идет о процессе, происходящем в человеке,  
 который сумел превратить высшие идеи, мыс-  
 ли и представления в чувства и ощущения. Как  
 же происходит это превращение?

\* Перевод поэмы С.В. Шервинского.

Все мы последовательно проживаем ряд  
 воплощений, переходим от одной инкарна-  
 ции к другой. И в каждой из этих инкарнаций  
 мы получаем много разнообразных знаний,  
 каждая предоставляет богатую возможность  
 пополнить свой опыт. Нам не дано все усво-  
 енное в одной из инкарнаций во всех подроб-  
 ностях перенести в следующую. Всякий раз,  
 как человек получает новое рождение, вовсе  
 нет необходимости, чтобы все узнанное им в  
 прежней жизни воскресало во всех деталях.  
 Если человек научился многому в одной из  
 своих инкарнаций, затем умер и получил но-  
 вое рождение, то — хотя и нет необходи-  
 мости в том, чтобы были восстановлены все  
 его прежние идеи, — плоды его прежней жиз-  
 ни, плоды прежнего учения продолжают  
 жить в нем. Его ощущения и чувства соответ-  
 ствуют знаниям, полученным в прежнем во-  
 площении.

В поэме Гёте выражено нечто чудесное: в  
 ней показан человек, который в простых, поч-  
 ти детских словах, далеких от рассудочных и  
 идейных формулировок, высказывает высшую  
 мудрость, являющуюся плодом его прежне-  
 го знания. Он несет в себе это знание в виде  
 чувств и ощущений и потому призван вести за  
 собой других людей, быть может прошедших  
 школу рациональной мысли. Этот странник  
 со зрелой душой, в непосредственных чувст-  
 вах и ощущениях которой сохранились зна-

ния всех предыдущих инкарнаций, и есть брат Марк. Он как представитель некоего тайного братства послан с тайной миссией в другое тайное братство.

На своем пути он минует разные местности и, утомясь, подходит к горе. Тропинка приводит его к вершине. Каждая деталь в этом стихотворении исполнена глубокого смысла. Поднявшись на гору, он видит в близлежащей долине монастырь. Этот монастырь является обителью монахов другого братства — того, куда он послан. Над воротами монастыря он видит нечто необычное — крест, но особый, увитый розами! Тут он произносит знаменательные слова, понятные лишь тому, кто знает, сколь часто этот пароль употреблялся в тайных братствах: "...кто же розы приобщил кресту?" Он видит, что из центра креста, как из солнца, исходят три луча. Ему не нужно объяснять посредством понятий всю глубокую символику этого изображения. Чувства и ощущения, живущие в его умудренной душе, сами делают это. Его зрелая душа знает, что за этим скрывается.

Что означает крест? Он знает, что крест сам по себе имеет множество значений, символизируя, в частности, тройственную низшую природу человека: физическое тело, эфирное тело и астральное тело. Здесь рождается человеческое "я". Крест, увитый розами, знаменует четыре природы человека: в самом

кресте — физический, эфирный и астральный человек, в розах — человеческое "я". Почему же розы соответствуют человеческому "я"? Эзотерическое христианство потому увило крест розами, что усмотрело в принципе Христа требование: возводить "я", рожденное в тройственном теле, ко все более и более высокому "я". В принципе Христа оно увидело силу, способную поднимать "я" на все большую высоту.

Крест есть знак смерти в совершенно особом смысле. В другом месте Гёте выразил это прекрасными стихами:

И покуда не поймешь:  
Смерть — для жизни новой,  
Хмурым гостем ты живешь  
На земле суровой.

Умри и снова стань, преодолей то, что изначально дано тебе в трех низших телах. Умертви это в себе — не из любви к смерти, но для того, чтобы облагородить содержимое этих тел, чтобы в собственном "я" борьбой обрести силы, способные вмещать все большее усовершенствование. Через умерщвление изначально данного тебе в трех низших телах твое "я" получит силу для совершенствования. Христианин должен в самой глубине своего "я" усвоить эту силу совершенствования как Христов принцип. В самой его крови должна действовать эта сила.

Кровь есть выражение "я". Красные розы были для христианского эзотерика олицетворением того, что ведет человека к собственной высшей сущности, действуя в его крови, облагороженной Христовым принципом, т. е. действуя в его облагороженном "я". Она выражала ту силу, которая превращает астральное тело в самодух, эфирное тело — в жизнедух, физическое тело — в духочеловека. Итак, увитый розами крест с исходящим из него тройственным лучом являет собой глубокий символ Христова принципа. Странник брат Марк, пришедший сюда, знает: он попал к людям, которым ведом глубочайший смысл христианства.

Устав от путешествия дневного,  
 Что по внушенью свыше он свершал,  
 С клюкой, — обычай странника простого, —  
 Пришел брат Марк, хотя пути не знал,  
 Испить взыска и найти съестного,  
 В дол некий, на закате, и мечтал  
 Обрести в долине, зеленью одетой,  
 Гостеприимный кров для ночи этой.

По кругизне горы, пред ним встающей,  
 Как будто след дороги видит он,  
 Путь держит по тропе, изгибы вьющей,  
 Крутящейся вкруг скал, на самый склон.  
 И вскоре с высоты зрит дол цветущий,  
 И, солнцем вновь приветно озарен,  
 Он видит, тайно удовлетворенный,  
 Что близок стал к вершине озаренной.

А сбоку солнце, пышно опускаясь,  
 На темный село облачный престол.  
 Набравшись сил и дальше вверх взбираясь,  
 Где от трудов он отдых бы нашел,  
 "Ну, — говорит, к себе же обращаясь, —  
 Увидим, обитаем ли тот дол?"  
 И слышит вдруг, — как будто вновь родился, —  
 Звон колокольный в воздухе разлился.

Достигнув же вершины отдаленной,  
 Долину, мягко выгнутую, зрит.  
 Взор тихо светит, удовлетворенный;  
 Близ леса, — вдруг увидел он, — стоит  
 На зелени лужайки дом отменный.  
 Как раз последний солнца луч горит.  
 Спешит он лугом, по росе упавшей,  
 К обители, навстречу засиявшей.

Вдруг пред убежищем отдохновенья,  
 Что упованье и покой несет,  
 Таинственное он изображенье  
 Над аркой видит замкнутых ворот.  
 Он стал и мыслит, и благоговенья  
 Бьет в сердце ключ, и тихо шепчет рот.  
 Он стал и мыслит: что все это значит?  
 Смолкает звон, и солнце лик свой прячет.

Он видит: пышно знак взнесен, который  
 Льет упований и надежды свет,  
 Что тысяч душ притягивает хоры  
 И тысячам сердец дает ответ,  
 Что смерти сокрушает приговоры,

На стольких вьется знаменах побед!  
Отрадный ток по членам протекает.  
Он видит крест и взором поникает.

И вновь поняв, как благо то чудесно,  
В полмира мерит веры полноту.  
Он мыслью полн, ему дотоль безвестной,  
Но явственной через эмблему ту.  
Пред ним — крест, розами увитый тесно.  
Но кто же розы приобщил кресту?  
Набух венки, и розы, справа, слева,  
Сопровождают мягко твердость древа.

И облаков серебряная стая,  
С крестом и розами сплетаясь, вьется;  
Из середины же бьет жизнь святая  
Тройных лучей, она из средней точки льется.  
Но не приметна надпись никакая,  
Значенье тайны темным остается.  
Тускнеет небо каждое мгновенье.  
Он стал и мыслит с чувством обновления.

В этом здании дух чистейшего христианства выразился через крест, увитый розами, и, переступив порог, наш странник действительно был встречен этим духом. Ему сразу становится ясно, что в этом доме правит не та или иная отдельная религия, но высшее единство всех религий мира. О том, чье поручение он выполняет и почему попал в этот дом, странник рассказывает старику, члену братства, обитающего

здесь. Его принимают, и он узнаёт, что в этом доме, удалясь от мира, живут двенадцать человек, составляющих братство. Все они — представители разных человеческих общностей, живущих на земле, — каждый из братьев представляет какое-либо вероисповедание. Здесь нельзя увидеть юноши, человека, еще незрелого, — сюда принимают лишь тех, кто успел приглядеться к миру, пробился через все соблазны и мирские страдания, потрудился в этом мире и сумел возвыситься до свободного взгляда, выходящего за тесные границы личного существования. Лишь тогда человек может быть принят здесь и займет свое место в кругу двенадцати. Все двенадцать, т. е. двенадцать религий мира, живут здесь в мире и гармонии друг с другом, поскольку они ведомы Тринадцатым, который всех их превзошел совершенством своего человеческого "я" и дальностью взгляда, простирающегося превыше человеческих обстоятельств.

Как же Гёте показывает, что этот Тринадцатый является представителем истинной эзотерики, исповедником увитого розами креста? Это передается словами: он был меж нас. Мы погружены в глубокую печаль, потому что теперь он оставляет нас, он пожелал удалиться от нас. Но он находит это правильным — теперь от нас удалиться. Он хочет подняться в высшие области, где ему уже не понадобится земное тело, чтобы являть себя.

Ему дозволено совершить это восхождение. Ибо он уже поднялся до той точки, которую имеет в виду Гёте, говоря, что всякое исповедание оставляет возможность приблизиться к высшему единству... Если каждая из двенадцати религий готова стать основой гармонии, то Тринадцатый, прежде создавший гармонию лишь внешним образом, может вознестись. В прекрасных стихах нам рассказано, как достигается подобное самосовершенство. Сначала идет рассказ о жизненном пути Тринадцатого, однако брат, встретивший странника, знает и нечто такое, о чем великий вождь двенадцати не может рассказать. Некоторые сведения, имеющие глубоко эзотерическое значение, этот брат сообщает страннику Марку. Рассказывается, что при рождении Тринадцатого о начале его земного существования возвестила звезда. Между этой звездой и той, что вела трех святых царей, существует непосредственная связь. Эта звезда имеет непреходящее значение: она указывает путь к самопознанию, самоотречению и самосовершенствованию. Эта звезда открывает смысл даров, полученных во сне датским королем, она является при рождении каждого, кто достаточно умудрен, чтобы воспринять принцип Христа.

Выясняется и нечто иное — что этот человек поднялся на такую высоту религиозной гармонии, что в его собственной душе также воцарились гармония и мир. Глубоким

символом этого является то, что в момент рождения Тринадцатого в мир с неба низринулся ястреб, но, не учинив никакого разорения, утвердил вокруг себя мир среди голубей. Но этого мало. Когда его маленькая сестра лежала в колыбели, вокруг нее обвилась ехидна. Тринадцатый, тогда еще ребенок, убил змею. Чудесным образом здесь показано, как зрелая душа — ибо на такое дело способна только душа, достигшая зрелости после множества инкарнаций, — уже в нежном возрасте победила в себе низшую астральную сущность, выступающую в образе ехидны. Ехидна есть символ низшей астральной сущности. Сестра — это его собственное эфирное тело, обвитое астральным телом. И вот он освобождает ее, убив ехидну.

Затем нам рассказывается, как послушно он выполнял все, что поначалу требовалось от него в родительском доме. Он беспрекословно повиновался своему суровому отцу. Душа его превратила все познанное ею в идеи и мысли. Затем в ней стали развиваться целебные силы, которые получили применение во внешнем мире. Чудесные силы стали расти, их действие проявилось, когда он ударом меча выбил источник в скале. Замысел здесь состоит в том, чтобы показать, как его душа следовала путем Писания.

Так постепенно приходил в зрелость Верховный, Представитель человечества, Избран-



ный, который здесь, в обществе двенадцати — великого тайного ордена, взявшего на себя, под знаком креста с розами, миссию примирения земных вероисповеданий, — выступает в качестве Тринадцатого. Итак, для начала нам дают вникнуть в душевный строй того, кто до последнего времени возглавлял братство двенадцати.

Он постучал, когда уже светила  
Свой ясный взор с небес к нему склоняли.  
Ворота — настужь. Вот он встречен мило.  
Простерты руки, лица просияли.  
Он повествует, как его стремил  
Сил вышних воля из толикой дали.  
Дивятся все; и как почтен был странник,  
Придя как гость, — так ныне чтим посланник.

Теснится каждый, чтобы слышать тоже,  
И силой тайной полнится живей;  
Дохнуть не смеют — речь ведет прохожий.  
И в сердце каждого есть отзвук ей.  
То, что он говорит, с ученьем схоже  
Глубокой мудрости из уст детей.  
Он так открыт, так чисто выраженье,  
Что, мнится, он — не здешнего рожденья.

Старик — ему: «Привет, привет, любимый,  
Коль утешенье твой сулит приход!  
Глядишь на нас: мы все тоской томимы,  
Хоть наши души взор твой ввысь влечет.

Утратить счастье лучшее должны мы, —  
Затем полны мы страха и забот.  
В час важный принят нашими стенами  
Ты, чужанин, — скорбеть совместно с нами.

Ах! Нас объединивший муж совета,  
Отец, друг, вождь наш не стезе высокой,  
Для нас источник бодрости и света,  
Покинет нас, и время недалеко.  
Недавно сам он возвестил про это,  
Но не назвал ни способа, ни срока:  
Так, неизбежная сия разлука  
Таинственна, и в ней — двойная мука.

Ты зришь, мы все — с седыми волосами,  
Природа нам назначила покой.  
Таких меж нами нет, кто, юн летами,  
До времени бежал бы при мирской.  
Побед и бед познавши груз с годами,  
Когда уж парус ослабел тугой,  
Сюда прийти нам с честью стало можно,  
Утешенным, что гавань здесь — надежна.

Тот благородный муж, всех нас вожатый,  
Господень мир хранит в груди.  
Я дел его был в жизни соглядатай,  
И ряд годов мне ясен позади.  
Себя приготавливает он; для брата  
В том верный знак: разлуки скоро жди.  
Что человек, коль гибнем мы напрасно  
И жизнь отдать за лучшего не властны?

Я этой полн единственной мечтою.  
 Мне суждено ль с желаньем тем расстаться?  
 Сколь многие ушли передо мною!  
 Теперь о нем я должен сокрушаться.  
 Как ласково он встретился б с тобою!  
 Днесь нам придется с домом управляться.  
 Хоть он еще наследника на ставил, —  
 В жизнь духа перешел, а нас оставил.

Час только в день, растроганный, пред нами  
 Рассказывает; слушаем, кругом,  
 Из уст его, прямыми словесами,  
 Как был он в жизни промыслом ведом;  
 Следим, чтоб весть, которой внемлем сами,  
 В малейшем не утратилась потом.  
 Записывает все писец радивый,  
 Чтоб память о вожде была правдивой.

Я многое сам лучше рассказал бы,  
 Но молча лишь речам внимаю сим,  
 Малейшей я черты не потерял бы, —  
 Еще храню я все умом моим.  
 Я слушаю, а сам и не скрывал бы,  
 Что не всегда вполне доволен им.  
 Заговори я сам о том предмете,  
 Великопнее звучали б речи эти.

Тогда я рассказал бы без смущенья,  
 Как духом мать предвещена о нем,  
 И как звезда, при торжестве крещенья,  
 Светлей зажглась на небе заревом,

Как долгокрылый ястреб, друг хищенья,  
 Упал на двор, где голубей был дом,  
 Не с ярым натиском, не угрожая,  
 Но к единенью кротко приглашая.

В смиренности он умолчал про дело,  
 Как мальчиком ехидн он поразил,  
 Вкруг сестриной руки обвивших тело,  
 И сонным бы ребенок сгублен был, —  
 Сбежала няня, кликнуть не поспела,  
 Рукой червя он сжал что было сил;  
 Явилась мать и в радостном порыве  
 Зрит подвиг сына, дочь находит вживе.

Смолчал о том, как из скалы бесплодной  
 Родник извел ударом он меча,  
 И как поток полил волной свободной,  
 С горы свое течение в пропасть мча,  
 И ныне все он льется, быстроводный,  
 Серебряной струи не омрача.  
 Присутствовавшие при оном чуде  
 Не смели в уголение верить люди.

Коль человек природой возвеличен, —  
 В том чуда нет, что жизнь умел провесть:  
 В нем помысел Создателя отличен,  
 Что слабый прах возвел в такую честь.  
 Но если он, к борьбе с собой привычен,  
 Сумел соблазны злые перенести,  
 Его другим мы с радостью покажем:  
 "Вот он! Вот собственность его!" — мы скажем.

Любая сила ширится к просторам,  
 Чтоб жить и действовать во всех концах,  
 Но с двух сторон стесняет нас напором  
 Мирской поток и нас влачит в волнах.  
 Меж бурей внутренней и внешним спором  
 Дух видит смысл в неясственных словах:  
 От власти, все живущее стеснившей,  
 Освобожден — себя лишь победившей.

Так этот человек, сумевший преодолеть самого себя, точнее, то “я”, которое каждому присуще изначально как данность, стал Верховным в этом избранном братстве. Так вел он их за собой... И довел до того уровня зрелости, на котором их можно было покинуть.

Затем брата Марка ведут в покои, где двенадцать занимаются неким делом. Что это за дело? Это дело совсем особого рода — нам дают понять, что оно разворачивается в духовном мире. Есть люди, чей взгляд ограничен лишь физическим планом действительности, а чувства воспринимают исключительно физическое и то, что происходит с человеком в физическом мире; таким людям трудно себе представить, что бывает и работа иного рода, которая порой оказывается гораздо важнее и существеннее той, что производится во внешнем, физическом плане. Работа, совершаемая в высших планах действительности, гораздо важнее для человечества. Существует, однако, условие, согласно которому тот, кто

хочет работать в высших планах, сначала должен завершить работу в плане физическом. Двенадцать уже сделали это. Поэтому их совместное дело является собою высший род служения человечеству.

Брата Марка ведут в залу, служащую местом общих собраний двенадцати, где ему является глубоко символический образ их совместного дела. Вклад каждого брата с его конкретными особенностями изображен в виде особого символа над его креслом. Различные символы, каждый по-своему, наглядно выражают, что тот или иной из них привнес в совместную работу, состоящую в духовном деле — таком, что отдельные потоки сливаются в единый поток духовной жизни, наводняющий весь мир и вливающий силы во все остальное человечество. Есть на земле такие братства, такие центры, откуда изливаются подобные потоки, воздействующие на все остальное человечество.

Над местом Тринадцатого брат Марк снова видит прежний знак: крест, увитый розами, который одновременно является символом четырехоставной природы человека и — красными розами — символизирует принцип обложенной крови, очищенного “я”, принцип высшего человека. Далее мы видим, что то, чему надлежит быть преодоленным с помощью этого знака, помещено в виде особого символа справа и слева от места Тринадцатого. Справа

расположен огнецветный дракон, олицетворяющий астральную сущность человека.

Христианской эзотерике хорошо известно: душа человека бывает привержена трем низшим телам. В такой душе господствует низшая жизнь тройной телесности, при астральном созерцании это выражается образом дракона. И это не просто символ, но вполне реальный знак. В драконе выражено то, что сначала подлечит преодолению. В страстях, в этих силах астрального огня, принадлежащих природе физического человека, в этом драконе христианская эзотерика, духом которой пронизано гётевское стихотворение, эзотерика, получившая распространение в Европе, видела порождение жаркого пояса земли, т. е. Юга. Именно с Юга ведет свое происхождение та составная часть человека, которую все человечество усвоило как жаркую страсть, охватывающую нижнюю, чувственную его природу. В более прохладном влиянии Севера был угадан первый импульс, способный победить ее и превозмочь. Холодному влиянию Севера, т. е. нисхождению "я" в тройственную телесность, соответствует, согласно древнему символу, имеющему в основании созвездие Медведицы, жест руки, вложенной в медвежью пасть. Итак, преодолевается низшая природа человека, олицетворенная в образе огненного дракона. Сохраняется же при этом — в более высокоорганизованной животности — то начало, кото-

рое выражено медведем. Человеческое "я", изжившее в себе природу дракона, — с соблюдением всех внутренних соответствий этой символики — представлено рукой, протянутой внутрь медвежьей пасти. По обеим сторонам креста, увитого розами, помещено то, что с его помощью должно быть преодолено, само же розокрестье являет собой призыв к человеку — все более возвышать и облагораживать себя.

Таким образом, это стихотворение, по сути, дает проникновенное изображение принципа эзотерического христианства и представляет нашему взору в первую очередь то, в чем особенно нуждается наша душа в нынешний праздник.

Старейший из насельников этой братской обители ясно дает понять страннику Марку, что их совместное делание совершается в духе и что предмет его — духовная жизнь. Эта работа, совершаемая в духовном плане на благо всего человечества, представляет собой нечто особое. Братья хорошо познали радость и горести жизни. Позади у них — борьба и работа во внешнем мире. Теперь они здесь, но и здесь продолжается упорная работа, направленная на совершенствование человечества. "Теперь ты видел столько, — говорят Марку, — сколько позволено видеть ученику, которому открывают первые врата. В исполненных глубокого значения символах тебе показано, каким должно быть восхождение человека. Однако

за вторыми вратами скрываются тайны превыше первой: как совершается в духовных мирах работа над человечеством. Эти высшие тайны ты сможешь познать лишь после долгой подготовки, лишь тогда ты войдешь во вторые врата". Глубокие тайны выражены в этом стихотворении.

Как знал он сердцем с возраста молодого,  
 Что ныне и не добродетель в нем.  
 Как чтил отца взыскательное слово,  
 Усердствовал, когда отец трудом  
 Младую волю отягчал сурово,  
 Зрел радость в подчинении своем,  
 Как мальчиком, бездомным сиротою,  
 За хлеб трудился, движимый нуждою.

Он с воинами нес походов бремя,  
 Сперва пешком, под бурями и в зной,  
 На стол им накрывал, держал им стремя,  
 И каждому из старших был слугой.  
 Охотно с вестью он в любое время,  
 Будь день иль ночь, бежал тропой лесной,  
 И так привык всегда служить другому,  
 Что радостью считал трудов истому.

Как смел и доблестен, в пыли сраженья,  
 Найденные он стрелы подбирал,  
 Как собирал он травы и коренья  
 И их потом на раны налагал.  
 Целило всех его прикосновенье,

Его руки больной с восторгом ждал.  
 Все радостно его встречали ныне!  
 Один отец знать не хотел о сыне.

Как легкое под парусами судно,  
 Не чуя груза, мчит из порта в порт, —  
 Завет отца ему нести не трудно:  
 Покорствуй! — смысл его ученья тверд.  
 Честь юношей влечет благорассудно,  
 А он пред волею чужой простерт;  
 Пускай отец еще не успокоен, —  
 Что ни прикажет, сын хвалы достоин.

Но вот отец проникся убежденьем,  
 Что слишком медлит, сына отстраняя;  
 Покончил он с суровым небреженьем,  
 Вдруг ценного дарит ему коня.  
 Не занят отрок мелким услуженьем.  
 Кинжал забыт; идет, мечом звеня.  
 Так в орден поступает он, испытан, —  
 Как для того рожден был и воспитан.

Еще день целый мог бы продолжать я  
 Повествованье дивное мое...  
 Да сопричислят будущие братья  
 К ценнейшим былям это житие.  
 То, что, душе мнясь чуждым вероятья  
 В стихах и баснях, все ж пленит ее,  
 Здесь обещает радость ей двойную,  
 Показывая истину прямую.

Как, — спросишь, — звать избранника благого,  
 На коего глаз Промысла воззрел?  
 Кого хвалю, — хоть скудно — днесь и снова,  
 С кем совершилось столько дивных дел?  
 Humanus — имя мудрого, святого,  
 Кто лучше всех, чей благостен удел;  
 А род его, — как то зовут вельможи, —  
 И предков тотчас ты узнаёшь тоже”.

Так старец рек, и речь повел бы доле, —  
 Был сам он весь чудесным полонен, —  
 Дивились бы неделю мы и боле  
 Тому, что нам рассказывал бы он,  
 Но речь как раз прерва́лась поневоле,  
 Хоть рос сердечный ток, и гость был восхищен;  
 Входили братья, следом шли другие  
 И заглушили словеса благие.

С поклоном Марк, — лишь от трапёзы встали, —  
 Творца и братию благодарит  
 И просит, чтоб в посуде чистой дали  
 Ему водицы. И сосуд налит.  
 Ведут его, и вот в большой он зале;  
 Его очам открылся редкий вид.  
 Чтó он узрел, скрывать не след; как совесть  
 Повелевает, я продолжу повесть.

Здесь глаз не ослеплялся мелочами:  
 Крестовый смелый свод над головой,  
 Тринадцать кресел — в ряд, перед стенами,  
 Подобие капеллы хоровой.

С резьбой, точенной умными руками,  
 И перед каждым — маленький налой.  
 Здесь, чуялось, течет в благоговеньи  
 И жизненный покой, и жизнь в общеньи.

И по верхам у каждого сиденья  
 Тринадцать предстоит гербов ему.  
 Не гордости о предках проявленье, —  
 Все выбраны по смыслу своему.  
 Весь запыхал брат Марк от нетерпенья  
 Узнать, чтó каждый говорит уму.  
 Он тот же знак, на самом главном месте,  
 Вторично видит: крест и розы вместе.

Вообразать и многое другое  
 Душа здесь может, помыслы текут;  
 Щиты, на них же шлемы в том покое,  
 Мечи и копья видны там и тут;  
 Оружие, каким оно из боя  
 Пovyбрано, украсило приют,  
 Стран разных стяги, панцири суровы,  
 А рядом — правда! — цепи и оковы.

Спустились с кресел, встали на колени,  
 В молитву тихо каждый погружен;  
 Звучат слова коротких песнопений,  
 Благоговейной радости канон,  
 Обряд взаимен их благословений  
 На краткий, не смущенный грезой сон.  
 Лишь Марк, — хоть многие из братьев встали,  
 Чтob посмотреть, еще остался в зале.

Хоть он устал, но гонит сон, во власти  
 Картин разнообразнейших кругом:  
 Дракона зрит он огнецветной масти,  
 Что жажду гасит в пламени лихом,  
 Там руку видит у медведя в пасти,  
 Откуда кровь горячим бьет ручьем;  
 Висят щиты на месте достославном,  
 Близ розокрестья, в отдалении равном.

Куда ни обернется, — все отменно.  
 Он пышностью, искусством изумлен.  
 Намеренье тут было непременно,  
 Но будто все само создалось, мыслит он.  
 Дивиться ли, что все так совершенно?  
 Дивиться ли, как замысел мудрен?  
 И кажется ему: в небесном упоеньи  
 Он только жить и начал в то мгновенье.

“Ты к нам пришел чудесными путями, —  
 Вновь молвит ласково старик седой, —  
 Вглядишься в картины и останься с нами —  
 Познать, что каждый совершил герой.  
 Тайн сих не вскрыть и не изречь устами,  
 По дружбе ими делимся с тобой.  
 Поймешь, как много было здесь страданий,  
 Утрат, событий и завоеваний.

Но знай, не только про былые лета  
 Рассказывает старец; жизнь идет.  
 Что здесь ты зришь, пролетят все больше света,  
 Вот тут ковром покрыто, флером — вот.

Готовь себя, коль нравится все это;  
 Ты вышел, друг, из первых лишь ворот,  
 Ты ласково приветствован в преддверьи,  
 Но внидешь внутрь, имею я доверье”.

После недолгого отдыха брат Марк получает некое знание, пусть смутное, о внутренних покоях. Он открыл уже свою душу действию глубоких символов, выражающих восхождение человеческого “я”. И теперь, разбуженный звоном колокола, он встает и идет к воротам, но находит их запертыми. Тут до его слуха доносится необычный тройственный звук: три удара, как бы пронизанные звуком флейты. Но он не может заглянуть внутрь и увидеть, что происходит по ту сторону ворот.

Нам остается узнать еще всего лишь несколько слов, исполненных глубокого смысла, о том, что ожидает человека, когда он приближается к духовным мирам; когда он, благодаря работе над своим “я”, достигает такой чистоты и совершенства, что, пройдя сквозь астральный мир, приближается к высшим мирам, где находятся пробразы земных вещей; когда он приближается к тому, что в эзотерическом христианстве называется небесным миром. На этом пути он проходит через мир струящихся красок и вступает в мир звуков, в мировую гармонию, в музыку сфер. Духовный мир есть мир звуков. В этот духовный мир должен

вжиться всякий, кто возвел свое “я” к высшим мирам. Гёте и был тем человеком, которому удалось — в “Фаусте” — найти ясное выражение для высшего опыта, почерпнутого в мире духовных звуков, — это описание относится к тому моменту, когда герой возносится на небо и небесный мир открывается ему через звуки.

Звуча в гармонии вселенной  
И в хоре сфер гремя, как гром,  
Златое солнце неизменно  
Течет предписанным путем.

Физическое солнце не звучит — звучит духовное солнце. Гёте развивает тот же образ, показывая, как Фауст, после долгих блужданий, попадает в духовные миры:

Чу! Шумят, бушуют Оры!  
Шум их слышат духов хоры;  
Новый день увидят взоры!  
...  
Трубный звук гудит и мчится,  
...  
Лишь для смертных шума нет!

Пройдя через символический цветовой мир астрального, человек, если он продолжает свое развитие, приближается к миру, где царит гармония сфер, к дэваханической области, т. е. к области духовной музыки. Лишь едва-едва слышно доносится до брата Марка, когда он

проходит через первые врата, врата астрального, звучание внутреннего мира, находящегося за гранью нашего внешнего мира, — звучание того мира, который преобразует низший мир астрального в мир высший, тот, что пронизан тройным звучанием. И по мере того, как мы погружаемся в высший мир, низшая природа человека превращается в высшее триединство: наше астральное тело превращается в духовное “я”, эфирное тело — в жизнедух, физическое тело становится духочеловеком.

Сначала брат Марк улавливает в музыке сфер тройное звучание высшей природы, когда же он сливается с этой музыкой воедино, к нему приходит предощущение того, что человек, вступивший в связь с духовными мирами, тем самым испытывает омоложение. Словно во сне, видит он парящих над садом трех юношей с факелами, олицетворяющих омоложенное человечество. Это момент утреннего пробуждения души Марка, выхода ее на свет из тьмы, которая, однако, еще не расступилась, свет еще не рассеял ее окончательно. Однако в этот момент душа и может бросить взгляд в духовный мир. Она может заглянуть туда, подобно тому как это случается, когда кульминация лета давно позади, когда солнце становится все слабее, наступает зима и в рождественскую полночь сквозь землю начинает просвечивать принцип Христа.

Посредством Христова принципа человек



возводится к высшему триединству, которое предстает перед братом Марком в образе трех юношей, олицетворяющих омоложенное человечество. Вот что выразил Гёте в известных строках:

И покуда не поймешь:  
*Смерть — для жизни новой,*  
 Хмурым гостем ты живешь  
 На земле суровой.

Тому, кто постиг эзотерическое христианство, рождественская ночь должна ежегодно напоминать о том, что все происходящее во внешнем мире есть только мимика и жесты, выражающие внутренние, духовные события. Внешняя сила солнца иссякает после весны и лета. В Священном Писании эта внешняя солнечная сила, лишь возвещающая о внутренней, духовной солнечной силе, представлена Иоанном, тогда как внутренняя, духовная сила есть Христос. И по мере того как физическая сила солнца постепенно идет на убыль, духовная сила все более возрастает, пока наконец не достигает к Рождеству своего пика. Об этом евангельские слова Иоанна: "Мне должно заходить, а Ему — восходить"... И Он восходит все выше и появляется там, где солнце вновь обретает свою внешнюю физическую силу.

Для того чтобы в этой внешней физической силе суметь увидеть и почтить силу духовного солнца, нужно понять все значение праздника

Рождества. Для людей, не понявших этого значения, новая солнечная сила ничем не отличается от старой, физической силы. Те же, кто ощущает импульсы эзотерического христианства и конкретно — Рождественского праздника, увидят в нарастающей силе солнечного тела лишь внешнюю телесность внутреннего Христа, который насквозь пронизывает землю своими лучами, животворит и плодотворит ее, так что земля сама становится носительницей Христовой силы, Духа Земли. Итак, рождаемое во всякую рождественскую ночь — каждый раз рождается для нас заново. Христос позволит нам во внутреннем мире воспринять в макрокосме — микрокосм, и это восприятие будет вести нас все выше и выше.

Праздники, которые столь давно сделались для людей чем-то внешним, вновь обретут глубокий смысл для тех, кто эзотерическим путем придет к сознанию, что все происходящее в природе, будь то гром или молния, солнечные или лунные восходы и заходы, суть лишь жесты и физиогномия духовного бытия. Мы должны сознавать, что в самые важные моменты, отмеченные нашими праздниками, и в духовном мире происходит нечто важное. Тогда-то мы приблизимся к омолаживающей духовной силе, представленной в образе трех юношей; эту силу "я" может стяжать, лишь отдавая себя внешнему миру, но ни в коем случае не замыкаясь эгоистически в се-

бе. Однако нельзя отдавать себя внешнему миру, если он не пронизан духовным началом. И то, что этот дух каждый год вновь является всем людям, даже самым слабым, как свет среди тьмы, следовало бы всякий раз вновь отмечать в своих сердцах.

Это и хотел выразить Гёте в своей поэме "Тайны". Это рождественская и вместе с тем пасхальная поэма. Она указывает на глубокую тайну эзотерического христианства. И если мы дадим воздействовать на себя тем глубоким тайнам розенкрейцерского христианства, на которые хотел указать нам Гёте, если воспримем хотя бы часть его силы, тогда мы станем миссионерами для своего, пусть достаточно малого, окружения и сможем наполнить этот праздник духовным и жизненным смыслом.

Проспал недолго друг наш в тихой келье,  
Глухой раздался колокольный звон,  
И с неусыпной скоростью, в весельи,  
Вняв благочестья зов, поднялся он,  
Оделся живо, поспешает к цели,  
Ко храму он всем сердцем устремлен,  
Молитвой окрылен, послушен вере,  
К замку спешит он, но — засов у двери.

И слышит: через промежуток ровный  
Тройной удар в пустую медь гремит,  
Не бой часов, не благовест церковный,

Вдруг меж ударов флейта прозвучит,  
И полнит сердце радостью духовной  
Тот шум, хоть смысл его значенья скрыт.  
Зовет к себе, как будто вьются с пеньем  
В весельи пары круговым движеньем.

Спешит к окну — узреть хоть издалека,  
Откуда звук, все взволновавший в нем.  
Восходит день, сереет даль Востока,  
Пар утренний подернул окоем.  
И вот, — не заблуждается ли око? —  
Свет необычный через сад влеком.  
Три отрока спешат его тропами,  
И факелов в руках пылает пламя.

Зрит белизну одежд он беспорочных,  
Развеянных на молодых телах;  
Кудрявые чела в венках цветочных,  
И перевязи роз на поясах;  
Идут как будто с плясок полуночных,  
Освежены в тех радостных трудах;  
Спешат, и, словно звезды, погашают  
Свои огни и в дали исчезают.

## ПРИМЕЧАНИЯ

## И.В. ГЁТЕ. ТАЙНЫ. ФРАГМЕНТ

Гёте начал сочинять поэму летом 1784 г., работа продвигалась медленно, с большим трудом и, по-видимому, в апреле следующего, 1785 г. была совсем оставлена. Из задуманных 3000 октав (письмо к Шарlotte фон Штайн от 24.VII.1784 г.) написаны 14 строф "Посвящения", отрывок самой поэмы (44 строфы) и 3 отдельные октавы, предназначавшиеся для нее, но в изданный автором текст "Тайн" (впервые в 1789 г. — в 8 томе его сочинений) не вошедшие.

Впервые отрывки из "Тайн" (строфы 23 и 24 в переводе П. А-ова) опубликованы на русском языке аксаковской газетой "Русь" (М., 1883, 1 сент., № 17. С. 32). Со всей поэмой российскую публику познакомил А.А. Сидоров. Как отмечает переводчик, он взялся за эту работу в 1911 г. по настоянию Л.Л. Кобылинского (Эллиса), тогда страстного теософа (см.: И.В. Гёте. Тайны. Фрагмент. Пер. А.А. Сидорова. М.: Лирика, 1914. С. 29).

Семь лет спустя к фрагменту обращается один из

больших русских поэтов — Б.Л. Пастернак, перевод которого представлен в настоящем издании (история работы над ним изложена ниже). Просветленность и поэтическая сила, сообщенные Пастернаком своему созданию, словно волшебством увлекают читателя в сферу идей, водивших пером Гёте.

В 1932 г. вышли в свет “Тайны”, переведенные С.В. Шервинским. Искусный мастер филологически точного, академичного стихотворного перевода, он стремился наряду с четкой передачей мысли и образности сохранить формальные особенности оригинала и присущие ему черты эпохи (см.: Гёте. Собр. соч. в 13 тт. Т. 2. М.—Л., 1932. С. 565). Его замечательное воссоздание поэмы, позволяющее неизменно опираться на “буквальный смысл” повествования, также вошло (за исключением “Посвящения”) в данное издание — как составная часть лекции Р. Штайнера о “Тайнах”.

Нижеследующая заметка подготовлена Е.Б. Пастернаком и Е.В. Пастернак по просьбе издательства.

«Перевод знаменитого отрывка Гёте “Тайны” с открывающим его “Посвящением” Борис Пастернак сделал по заказу издательства “Всемирная литература”, вероятно, в конце 1918 — начале 1919 г.

Эта работа в числе других сделанных в голубые годы переводов упомянута им в ходатайстве в Лито Наркомпроса от 14 июня 1920 г. с просьбой о предоставлении продовольственного пайка. Перечисляя переведенные за год стихотворные произведения (общий их объем

12 000 строк), Пастернак писал: “Это именно та степень напряжения, та форма и та каторжная обстановка работы, когда ее проводник и исполнитель, первоначально двинутый на этот путь силою призванья, постепенно покидает область искусства, а затем и свободного ремесла и, наконец, вынуждаемый обстоятельствами, видит себя во власти какого-то непосильного профессионального оброка...” (Журн. “Русская речь”. М., 1992, № 4. С. 45.) Академический паек (“право на дарование жизни”, как он его назвал) поэт тогда так и не получил. Но подступали трудности не только житейские. Надвигалась эпоха идеологического давления. Гораздо позже Пастернак символически обозначил одну из примет того времени: именно в 1921 г. Юрия Живаго начинают упрекать в “идеализме, мистике, натурфилософии Гёте, неомеллингианстве” (“Доктор Живаго”, ч. XIII, гл. 16). В таких обстоятельствах возникло и было издано пастернаковское воссоздание поэмы Гёте.

Однако вернемся к ходатайству 1920 г., где Пастернак называет 80 октав Гёте, переведенных им за прошедший год, что превышает объем “Посвящения” и “Тайн” на 176 строк неизвестных нам и не сохранившихся в архиве Пастернака гётевских стихотворений.

Весной 1920 г. представленную переводчиком рукопись читал Александр Блок как член экспертной коллегии издательства. Судя по тексту его отзыва (май 1920 г.), он слыл с подлин-

ником перевод “Посвящения”, саму же поэму за неимением немецкого текста мог сравнить лишь со старым переводом А.А. Сидорова, который, как пишет Блок, “производит впечатление более гётевское” (А. Блок. Собр. соч. в 8 тт. Т. 6. М.—Л., 1962. С. 469). Пастернаковский перевод вступления к “Тайнам” показался ему тяжеловесным, непростым, искусственным, хотя и литературным. “Правда, — замечает он, — октава — очень трудная для перевода строфа” (там же).

В 1956 г. в автобиографическом очерке “Люди и положения” Пастернак со свойственной ему зыскательностью в оценке собственных работ отмечает все несовершенство своих переводов того времени и среди них фрагмента Гёте, называя их “удручающе неумелыми писаниями”, а отзыв Блока характеризует как “пренебрежительный, уничтожающий, в оценке своей заслуженный и справедливый” (Б. Пастернак Собр. соч. в 5 тт. Т. 4. М., 1991. С. 312).

Блоковская рецензия не так страшна, как говорит Пастернак, и имеет в виду, как было сказано, лишь “Посвящение”. Впрочем, сама она относится к обиходу издательской работы и далека от всякой окончательности.

“Тайны” Гёте во “Всемирной литературе” изданы не были. Перевод Пастернака вышел небольшой отдельной книжкой в апреле 1922 г. в издательстве “Современник”. Сохранился авторский экземпляр книжки, подаренный Николаю Асееву, со следующей надписью:

“Николаю Асееву, кровному куску жизни моей, — мистический сумбур, который напомнит ему далекое и милое прошлое.

*Б. Пастернак*”

Ироническая надпись возвращала к старой дружбе 1912—1913 гг., первым литературным опытом и участием в околосимволистском кружке “Лирика”. Она напоминала также о глубоком, возникшем тогда интересе к Гёте, чье творчество и взгляды на искусство были всю жизнь особенно близки Пастернаку. Любовь и глубокое понимание нашли выражение в сделанном в 1948—1953 гг. переводе обеих частей “Фауста”, который тот же Асеев в своей рецензии назвал «вторым рождением “Фауста”».

В семейном архиве Пастернака хранится экземпляр изданной поэмы Гёте, содержащий чернильные (и отдельные карандашные) исправления текста, а также листок черновика, испещренный пробами рифм и версиями отдельных стихов. К сожалению, пока мы не можем точно датировать проведенную на страницах вышедшей в 1922 г. книжки авторскую правку перевода “Тайн”. Почерк и характер правки позволяют отнести ее к первой половине 1920-х гг., ко времени, близкому к появлению книги в печати. Это очень характерно для требовательного к себе автора, всегда недовольного результатами сделанного. Работа не была окончена, некоторые новонайденные варианты строк остались среди набросков и не были внесены в поэму, но совершен-

но очевидно, что они уточняют смысл и упрощают сложные конструкции первоначальной редакции, хотя и не несут на себе признаков окончательности авторского решения. Новая редакция при жизни автора опубликована не была.

Следует сказать, что оригинальный текст "Тайн" с его недосказанностями и мистической сложностью и в дальнейшем плохо поддавался переводу. Даже "Посвящение", столь любимое символистами и многократно трактовавшееся в их теоретических работах, грешит неясностями, через которые легко перешагивает в своей трактовке даже такой мастер художественного перевода, как В. Левик, позволяя себе отказаться от погружения в его таинственные глубины. Пастернак в те ранние годы стремился как можно ближе передать содержание и лаконизм, ритм и звучание, что усложняло чтение. Но мы можем отметить здесь и удивительные удачи, к сожалению оставшиеся пока вне поля зрения гётеведов. Вот, например, как он передает центральный образ "Посвящения", отражающий соотношение поэзии и жизни в понимании Гёте:

Блажен, кто принял в простоте души  
Поэзии покров благоуханный  
От Истины, ее руками тканый.

Или заключительные строки, оправдывающие, по мысли Гёте, главное назначение поэта:

Навстречу дням грядущим выйдем в ногу  
И будем жизнь счастливую вести.

Когда же всех оплачут нас, то внуки  
Любовью нашей будут жить в разлуке.

Красота русского воссоздания оригинала наряду с полной свободой передачи самых таинственных поворотов гётевской мысли была достигнута Пастернаком в более поздние годы и нашла свое высшее осуществление в переводе "Фауста".

Значительная часть сделанных переводчиком исправлений была учтена при переиздании поэмы в пятитомнике Б. Пастернака (Указ. изд. Т. 2, М., 1989), однако редакция перевода "Тайн", включающая весь объем авторской правки 1920-х гг., публикуется впервые в настоящем издании; орфография и пунктуация приведены в соответствии с современными нормами».

### С. 9

*Посвящение.* — 8 августа 1784 г. Гёте пишет Гердеру, что эти строки "предназначаются в качестве вступления [к "Тайнам". — *Ред.*] вместо традиционно призыва (к музе) и всего того, что полагается". (Гёте. Собр. соч. в 13 тт. Т. 2. М.—Л., 1932. С. 300.) Вступление к поэме он помещал во всех своих собраниях сочинений (кроме 2-го) в начале I тома как посвящение ко всему им написанному. Стихотворение переводили В.А. Жуковский (2 строфы), Ф.Б. Миллер, А.А. Блок (подстрочный перевод 4 строф), С.В. Шервинский, В.В. Левик.

С. 11

*Для глаз людей ты...* — у Б. Пастернака: “Для глаз людских ты...” — исправлено ради сохранения смысла следующего далее выражения “Я с ними жил...”.

С. 23

*Гуманус* — человеческий (от лат. *humanus*).

*Пред этим Богу должно воздал...* — Черновик предлагает вариант: “И слово благодарности сказал”.

С. 26

*Но не мара ль снует, его мороча, / И беглым  
глянцем озаряет сад?* — Б. Пастернак искал более удачный вариант: “Он трет глаза, чтоб разобраться четче / В ... озаривших сад”.

Статья написана как бы в ответ на письмо, с которым 15 ноября 1815 г. обратился к Гёте кружок кёнигсбергских студентов. Опубликована в штутгартской “Утренней газете для образованных сословий” (“*Morgenblatt für gebildete Stände*”) от 27 апреля 1816 г. Перевод печатается по изд.: Гёте. Собр. соч. в 13 тт. Т. 2. С. 596—570.

К мыслям о содержании своего неоконченного произведения поэт вернулся еще прежде, чем получил от студентов напоминание о нем. 3 августа 1815 г. С. Буассере записал: «Гёте сказал, что “Тайны”, как и очень многое в его жизни, он задумал чересчур грандиозно. — Двенадцать рыцарей должны были представлять двенадцать религий, и с развитием действия все должно было намеренно запутаться, действительное обернуться сказкой, сказка же, напротив, предстать действительностью». (“Зарубежная поэзия в переводах Б.Л. Пастернака”. М., 1990. С. 613.) Таким образом, рассудительный интерес,

проявленный внешним миром к загадке "Тайн", скорее всего, лишь убедил Гёте в своевременности желания изложить руководящую идею произведения.

## С. 28

*...вполне приемлемое толкование...* — Оно состояло в следующем: "Автор хотел изобразить в Гуманусе, до какой высоты может подняться и поднимается человеческая природа, очищенная принятием облагороженной религии и примером ее идеального Основателя. Гуманус — не столько определенное лицо, сколько образ облагороженного человечества вообще; все остальные действующие лица оказались бы в законченной поэме лишь побочными ролями; таинственность, в которую все обленено, заключает в себе, может быть, ряд особых намеков, или же замысел в целом давал разгадку для всего". (Гёте. Указ. изд. С. 568.)

## С. 29

*...в своей авторской исповеди...* — Речь идет о "Поэзии и правде" — жизнеописании Гёте, над которым он работал в 1810—1831 гг. и которое довел до 1775 г.

## С. 30

*Монсеррат* — горный хребет в Каталонии; в нем видели легендарную "гору спасения" Монсальват — местопребывание рыцарей Граала. Сам хребет и укрытый внутри него в долине бенедиктинский монастырь Гёте знал по описанию, присланному В. фон Гумбольдтом, видевшим их уже после написания "Тайн".

О своем намерении написать какую-нибудь сказку Гёте сообщает Шиллеру в письме от 8 июля 1795 г.; 17 августа он пишет ему, что хотел бы завершить задуманной сказкой серию своих новелл "Разговоры немецких беженцев"; 23 сентября Гёте завершает работу над сказкой о змее и Лилии. Она была тогда же напечатана в 10-м (октябрьском) выпуске журнала "Оры", как и все, что в нем публиковалось, — анонимно. "Сказку" переводили Г.А. Рачинский (Гёте. Указ. изд. Т. 6. М.—Л., 1934), а также И. Татаринова (И.В. Гёте. Собр. соч. в 10 тт. Т. 6. М., 1978). Перевод Н. Федоровой выполнен специально для настоящего издания.

## С. 77

*Паси овец своих* — Weide die Schafe.



Р. ШТАЙНЕР. ДУХОВНЫЙ СКЛАД ГЁТЕ  
СКВОЗЬ ПРИЗМУ «ФАУСТА» И СКАЗКИ О  
ЗМЕЕ И ЛИЛИИ

I. «ФАУСТ» ГЁТЕ КАК ОБРАЗ ЕГО  
ЭЗОТЕРИЧЕСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ

Статья представляет собой автореферат лекции, прочитанной по просьбе кружка теософов в «Теософской библиотеке в Берлине» зимой 1901—1902 г. (точная дата неизвестна); в то время Р. Штайнер еще не был членом Теософского общества. Исследование издано отдельной брошюрой (Berlin 1902), а позже без всяких изменений включено автором как 1-я статья в составленный им из трех работ сборник: *R. Steiner. Goethes Geistesart in ihrer Offenbarung durch seinen Faust und durch das Märchen von der "Schlange und der Lilie"*, Berlin 1918. Сборник впервые публикуется на русском языке в настоящем издании. Перевод выполнен по т. 22 Полного собрания сочинений и лекций Р. Штайнера: *Rudolf Steiner Gesamtausgabe, Bd. 22, Dornach/Schweiz 1979*. При составлении примечаний к статьям и лекции о «Тайнах» использован, в частности, справочный аппарат этого Собрания.

С. 86

*Штайнер* Рудольф Йозеф Лоренц (1861—1925) — основоположник сверхчувственного способа исследования духовной природы человека и мира, названного им антропософией. Уроженец Австро-Венгрии. В молодости приобретает известность благодаря философскому обоснованию естественных исследований Гёте, анализу мировоззрения Ф. Ницше, защите эволюционизма Э. Геккеля и даже — благодаря восторженному приему, который оказали его главной книге «Философия свободы» (Berlin 1894) некоторые представители теоретического анархизма.

В 1902 г. по предложению руководства Теософского общества Р. Штайнер возглавляет новооткрываемую немецкую секцию Общества. Закладывая основы открытой христианской эзотерики, он стремится разоккультурировать оккультное — развить новую, самодостаточную форму духовного знания, не опирающегося на его традиционную, хранимую в тайных братствах форму. В 1913 г. в силу расхождений по христологическим вопросам председатель и Генеральный совет Теософского общества исключают Штайнера и его приверженцев. Тогда же эти последние основывают независимое Антропософское общество. Р. Штайнер самоотверженно сотрудничает с ним, излагая свою науку о духе. Десять лет Общество строит в Дорнахе под Базелем центр духовной работы — Гётеанум. Это огромное двухкупольное здание было сожжено противниками антропософии 31.XII.1922 г. Общество переживает

трагический распад. Имея в виду “включить принцип посвящения в число принципов культуры”, Штайнер в декабре 1923 г. основывает “Всеобщее антропософское общество” и принимает на себя обязанности его председателя. В январе 1924 г. он тяжело заболевает, но все-таки продолжает интенсивную лекционную деятельность, энергично расширяет практические антропософские начинания и открывает свой идеальный Гётеанум — Свободную высшую школу духовной науки. Он скончался 30.III.1925 г.

Как реформатор-практик Штайнер заложил основы вальдорфской педагогики, антропософской медицины (в том числе омелотерапии рака), биодинамического сельского хозяйства, концепции “трехчленного социального организма”, инициировал развитие эвритмии, новых направлений в драматическом искусстве, живописи, архитектуре. Он оказал существенную помощь, когда в 1922 г. группа священников и богословов во главе с Ф. Риттельмайером основала отдельное от Антропософского общества движение за обновление религиозной жизни — Общину христиан. См.: К. Линденберг. Рудольф Штейнер: Биография. М., 1995; Ф. Риттельмайер. Жизненная встреча с Рудольфом Штейнером. Москва — Обнинск, 1991; А. Белый. Воспоминания о Штейнере. Париж, 1982.

С. 88

... *Гёте приступил к работе над “Фаустом”*... — Замысел трагедии возник у поэта в конце 1760 гт., когда ему не было и двадцати лет. Работу над ней

он завершил летом 1831 г. за несколько месяцев до кончины.

*Однажды ему был задан вопрос...* — немецким историком и поэтом Фридрихом Кристофом Фёрстером (авг. 1831 г.). См.: Goethes Gespräche, II. Teil, Artemisausgabe Zürich 1949, Bd. 23, S. 543.

С. 89

*“Фауст” ... в переводе Н.А. Холодковского.* — Дается по изд.: Гёте. Собр. соч. в 13 тт. Т. 5. М., 1947.

*Эккерман* Иоганн Петер (1792—1854) — литературный секретарь Гёте. Перев. Наталии Ман цит. по изд.: И.П. Эккерман. Разговоры с Гёте в последние годы его жизни. М., 1981.

С. 90

*Фишер* Фридрих Теодор (1807—1887). — Речь идет о его известной оценке: “...эта вторая часть “Фауста” содержит в иных местах несколько значительных поэтических приступов, в иных — позволяет усмотреть истинный дух Гёте, в целом же представляет собою ряд нудных и натянутых аллегорий и мало-помалу впадает в абсурд — но не столько из-за них, сколько из-за старческой витиеватости языка”. — *F. Th. Vischer: Goethes Faust, Neue Beiträge zur Kritik des Gedichts, Stuttgart 1875, S. 110/111.*

С. 92

*“Насколько известно, старые мастера...”* — Гёте. Собр. соч. в 13 тт. Т. 11. М., 1935. С. 419.

С. 93

*“Бог, который непосредственно связан с природой...”* — И.В. Гёте. Собр. соч. в 10 тт. Т. 3. М., 1976. С. 39.

С. 94

...узнать у духа "слова и силы"... — См.: "Фауст", ч. I, сц. 1.

...на примере "прарастения" и "п्राживотного" показал... — См.: "Метаморфоз растений" (1890) и "Первый набросок общего введения в сравнительную анатомию" (1895). В кн.: И.В. Гёте. Избранные сочинения по естествознанию. [М.—Л.], 1957. Философское обоснование этого подхода см.: Р. Штейнер. Очерк теории познания гётевского мировоззрения. М., 1993.

С. 95

...во... "внешнем" знании... — Здесь: в экзотерической науке.

*В буре деяний, в волнах бытия...* — Ч. I, сц. 1.

...в прозаическом гимне "Природа"... — Об авторстве гимна ср.: Р. Штейнер. Указ. соч. С. 97 сл., 133 сл. Перевод Герцена цит. по: И.В. Гёте. Указ. изд. С. 361—363.

С. 96

*В старости сам Гёте говорил...* — См. его «Пояснение к афористической статье "Природа"», написанное в 1828 г. (Там же. С. 364—365.)

С. 97

*Прав будь человек...* — И.В. Гёте. Собр. соч. в 10 тт. Т. I. М., 1975. С. 169 сл.

*"Тес и пещера"...* — Ч. I, сц. 14.

С. 99

*Лишь здесь достигнимо...* — Гёте. Фауст. Перевод Н. Голованова. М., 1898. С. 346.

С. 48

*Гор, Осирис, Исида.* — Подробнее см.: Р. Штайнер.

Христианство как мистический факт и мистерии древности. Ереван, 1991.

С. 100

*Только свободен от тела...* — заключительные строки "Золотых стихов Пифагора".

С. 101

*И покуда не поймешь...* — Последняя строфа стихотворения "Блаженное томление" — "Золотое перо. Немецкая, австрийская и швейцарская поэзия в русских переводах: 1812—1970 гг.". М., 1974. С. 588.

*"Чтобы существовать, нужно отказаться от существования".* — См.: Sprüche in Prosa. — In: Goethes naturwissenschaftliche Schriften, hrsgg. v. Rudolf Steiner, Neuausg. Dornach 1975, Bd. V, S. 441. У Гёте говорится: "Все наше искусство состоит в том, что мы отказываемся от существования, чтобы существовать".

*Гераклит* Эфесский (конец VI — нач. V в. до Р. X.) — философ-досократик. Подробнее об указанном в статье аспекте его учения см.: Р. Штайнер. Христианство как мистический факт. Гл. "Греческие мудрецы до Платона в свете мудрости мистерий".

...когда тот рассуждает о культе Диониса у греков... — См.: "Фрагменты ранних древнегреческих философов". Ч. I. М., 1898. С. 217 (50:15 DK).

С. 102

*"Итак, лишь смерть есть корень всякой жизни"...* — *Jacob Böhm*: Sex Puncta theosophica oder von sechs theosophischen Punkten hohe und tiefe Gründung, Erster Punkt, 1. Cap. 73: "Итак, яростная смерть есть корень жизни".

С. 103

*"Все то, в отношении к чему наш мир..."* — Источник цитаты не установлен.

С. 107

*Ты думаешь, что так всего сейчас...* — Ч. II, д. 1, сц. "Мрачная галерея".

С. 108

*"Если бы Вы родились греком..."* — И.В. Гёте, Ф. Шиллер. Переписка в 2 тт. Т. 1. М., 1988. С. 43.

С. 110

*"Могу вам открыть лишь одно..."* — Запись от 10 января 1830 г.

*У Плутарха...* — См. его "Сравнительные жизнеописания". М., 1961. С. 396. (Марцелл, гл. 20.)

С. 113

*Да вот, я все порхаю здесь вокруг...* — Ч. II, д. 2, сц. "У верховьев Пеня, как прежде".

*Вот от тебя он страстно ждет совета...* — Ч. II, д. 2, сц. "Скалистые бухты у Эгейского моря".

С. 117

*В искусстве, в поэзии он видел "манифестацию тайных природных законов"*. — Sprüche in Prosa. — In.: Goethes naturwissenschaftliche Schriften, hrsgg. v. Rudolf Steiner, Neuausg. Dornach 1975, Bd. V, S. 494. "Прекрасное есть манифестация тайных природных законов, которые — не будь его явления — навсегда остались бы от нас скрытыми".

С. 118

*Миссолонги* (Миссолунги) — итальянское название новогреческой крепости Месолонгион.

С. 119

*Мать, не покинь меня...* — Ч. II, д. 3, сц. "Внутренний двор замка, окруженный со всех сторон фантастическими постройками".

С. 120

*Проклятый звон! Как выстрел, вечно...* — Ч. II, д. 5, сц. "Дворец".

С. 121

*Из вас, мои сестры, никто не пройдет...* — Ч. II, д. 5, сц. "Глубокая ночь".

*Дух благородный зла избег...* — Ч. II, д. 5, сц. "Горные ущелья, лес, скалы, пустыня".

С. 125

*Думается, вы согласитесь...* — Запись от 6 июня 1831 г.

*Святые отшельники, ютящиеся...* — Ч. II, д. 5, сц. "Горные ущелья, лес, скалы, пустыня".

Работа написана летом 1918 г. и включена как 2-я статья в состав сборника *R. Steiner: Goethes Geistesart...* (см. с. 226 наст изд.).

С. 127

*...знак макрокосма...* — Обычно это гексаграмма в отличие от пентаграммы, знака микрокосма.

*Как в целом части все послушною толпою...* — Ч. I, сц. 1. Следующая цитируемая в статье строка непосредственно продолжает данный отрывок.

С. 131

*Ты близок лишь тому, кого ты постигаешь...* — Там же.

С. 133

*То, что Гёте называл "духовным оком"...* — См.: "Первый набросок общего введения в сравнительную анатомию (*Goethes naturwissenschaftliche Schriften*, hrsgg. v. Rudolf Steiner, Neuausg. Dornach 1975, Bd. I, S. 262): "Мы учимся смотреть глазами духа, без

которых мы — как повсюду, так и особенно в естествознании — обречены, как слепые, продвигаться ощупью". В указанном издании Штайнер как комментатор сопроводил данное место примечанием: "В этих словах содержится ключ к пониманию гётевского подхода к природе. Смотреть очами духа означает не что иное, как усматривать в животном образе не только чувственную реальность, но идею, лежащую в его основе, а также быть способным схватить идею в присущей ей форме (интуитивно). Каждая эмпирическая форма в этом случае является отклонением от идеальной формы, тогда как эта последняя служит нормой и опорой для объяснения такой частной формы". Также в статье "Немногие замечания" (*ibid.*, S. 107) Гёте пишет: "Как бы совершенны ни были те методы, с помощью которых он [К.Ф. Вольф. — *Ред.*] добился столь многого, все же этому превосходному мужу не пришло в голову, что есть разница между "смотреть" и "смотреть", что духовные очи всегда должны действовать в живом союзе с очами телесными, ибо иначе угрожает опасность: смотреть и не видеть". Штайнер отмечает: "Эти слова еще раз доказывают, насколько далеко Гёте ушел в своих воззрениях от плоского эмпиризма. Если этот последний признает лишь то, что можно воспринять чувствами, то Гёте более всего стремится к тому, чтобы видеть очами духа, иначе говоря, чтобы целью исследования была взята — не данная чувством, но сущая лишь для духа — закономерность, управляющая чувственно-реальными фактами".

С. 135

*Я рад бы к черту провалиться...* — Ч. I, сц. 9.

С. 137

*...люциферический антагонист человека... этот дух можно назвать ариманическим...* — В форме сценических картин названные духовные силы изображены Штайнером в мистериях-драмах: "Врата посвящения", "Испытание души", "Страж порога" и "Пробуждение душ". (Все 4 пьесы изданы в переводе Н.Н. Белоцветова в парижском издательстве "Office Hieroglyphe", б. г.) С точки зрения их роли в эволюции как люциферические (светоносные), так и ариманические (темные) антагонисты мирового развития рассмотрены в кн.: Р. Штайнер. Очерк тайноведения. Ереван, 1991.

С. 139

*...плана продолжения "Фауста"...* — Перевод плана, составленного Гёте в 1816 г. см. в кн.: А. Аникст. Гёте и Фауст. М., 1983. С. 197—201.

*Шрёер* Карл Юлиус (1825—1900) — австрийский педагог, языковед, германист, известный в свое время исследователь Гёте, поэт; профессор немецкого языка и литературы Венской высшей технической школы. Штайнер почитал Шрёера как своего учителя, раскрывшего ему смысл и значение мирозерцания Гёте.

С. 140

*Минор* Якоб (1855—1912) — австрийский историк литературы, профессор германской филологии в Вене.

С. 144

*Если бы фантазия не создавала непостижимого для рассудка...* — Эккерман. Разговоры с Гёте, запись 5 июля 1827 г.

III. ДУХОВНЫЙ СКЛАД ГЁТЕ  
СКВОЗЬ ПРИЗМУ СКАЗКИ  
О ЗЕЛЕННОЙ ЗМЕЕ И ЛИЛИИ

Работа входит как 3-я статья в сб.: *R. Steiner: Goethes Geistesart...* и является переработанным в 1918 г. вариантом более раннего юбилейного рассмотрения гётевской сказки: *R. Steiner: Goethes geheime Offenbarung. Zu seinem 150. Geburtstag (28. August 1899)*. — In: "Magazin für Literatur" Nr. 34, Berlin 26. August 1899.

С. 148

*...когда завязывалась дружба между Шиллером и Гёте...* — Начало их сближения относится к июлю 1794 г.

"Оры" — журнал, издававшийся Шиллером в 1795—1797 гг. "Письма об эстетическом воспитании..." напечатаны в выпусках 1, 2 и 6 за 1795 г. без указания имени автора.

*...письма... для герцога Августенбургского...* — Фридрих Кристиан II (1765—1814) — герцог Шлез-

виг-Гольштейн-Зонденбург-Августенбургский с 1794 г. В 1791 г. ввиду своей болезни и крайне стесненного материального положения Шиллер согласился принимать от Фридриха Кристиана (тогда еще принца) ежегодную пенсию в тысячу талеров, обусловив это обязательством представить ему одну из своих работ. Так возникло главное философское сочинение Шиллера в форме писем принцу, датированных второй половиной 1793 — началом 1794 г.

*"Можно сказать..."* — И.Х.Ф. Шиллер. Собр. соч. в 8 тт. Т. 6. М.—Л., 1950. С. 295.

С. 150

*"Когда мы страстно любим..."* — Из письма 14-го. — Указ. изд. С. 331.

С. 151

*"Присланную рукопись..."* — Гёте. Собр. соч. в 13 тт. Т. 13. М., 1949. С. 64.

С. 152

*Фридрих Майер фон Вальдек* — псевдоним немецкого литератора, историка и педагога Клеменса Фридриха Майера (1824—1899).

*...в докладе... 27 ноября 1891 г.* — Доклад Штайнера «Über das Geheimnis in Goethes Rätselmärchen in den "Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten"», в виде реферата, составленного К.Ю. Шрёером для "Chronik des Wiener Goethe-Vereins" Wien 1891, V. Bd., 6. Jg., Nr. 12, включен в 51 том Полного собрания сочинений и лекций Р. Штайнера.

*Венское гётевское общество.* — Основано в 1878 г. К.Ю. Шрёером.

*“Врата посвящения”*. — См. прим. на с. 236 наст. изд.

С. 162

*...смешанное действие в его душе трех названных сил...* — О разделении ума, чувства и воли и их новом соединении см.: Р. Штайнер. Как достигнуть познания высших миров? Ереван, 1992. Гл. “Расщепление личности во время духовного ученичества”.

С. 164

*Все, что освобождает наш дух...* — И.В. Гёте. Собр. соч. в 10 тт. Т. 8. М., 1979. С. 256.

С. 166

*Право, мне приятно знать...* — Ф. Шиллер. Собр. соч. в 7 тт. Т. 7. М., 1957. С. 351.

*...одного древнего мистика...* — Плотина, см.: А.В. Михайлов. Глаз художника (Художественное видение Гёте). В сб.: “Традиция в истории культуры”. М., 1978. С. 163.

*Будь несолнечен наш глаз...* — Полн. собр. соч. В.А. Жуковского в 12 тт. Т. 3. СПб., 1902. С. 78.

С. 168

*Принужденный потребностями, он...* — И.Х.Ф. Шиллер. Собр. соч. в 8 тт. Т. 6. С. 292.

С. 171

*“Сказка” достаточно пестра...* — И.В. Гёте. Ф. Шиллер. Переписка в 2 тт. Т. 1. С. 125.

## Р. ШТАЙНЕР. «ТАЙНЫ»: РОЖДЕСТВЕНСКО-ПАСХАЛЬНАЯ ПОЭМА ГЁТЕ

Публикация немецкого текста была подготовлена Э. Вайдманом на основе записи лекции, сделанной одним из слушателей: “Die Geheimnisse”, Ein Weihnachts- und Ostergedicht von Goethe. — In: R. Steiner: Vitaesophia, Betrachtungen aus der Lebensweisheit, Dornach 1931. Запись не была просмотрена лектором и может содержать пропуски и даже ошибки. Перевод выполнен по: Rudolf Steiner Gesamtausgabe, Bd. 98, Dornach 1983.

С. 173

*...нынешней ночью...* — Т. е. в рождественский сочельник, переходящий в ночь Рождества. Ночь с 24 на 25 декабря означает (по григорианскому календарю, с которым соотнобразует лектор), в частности, начало святок — 13 святых вечеров (ночей) или 12 святых дней “между годами”. 2, 3 и 4 января — дни, посвященные соответственно Мельхиору, Каспару и Валтасару. По истечении святок настает праздник



Трех святых царей, совпадающий с днем Крещения Господня (Богоявления) — 6 января. Предание говорит, что заповеданная звезда вела волхвов с горного места, или «с Востока» *по времени* ровно тринадцать дней, чтобы на Богоявление они могли поклониться родившемуся герою, который победит мир и над ним воцарится. Повстречавшиеся им пастухи сообщили подробности о ребенке и *месте* его пребывания. (См.: Гёте. Священные волхвы. В кн.: *Он же*. Об искусстве. М., 1975. С. 433—436.)

*СМВ* — инициалы имен Caspar, Melchior, Balthasar.

*Каспар, Мельхиор, Вальтасар* — «Краткая история легенды о царях-волхвах такова. В предельно сжатом упоминании в Писании (Матф., 2:1—12) не указаны ни имена их, ни этническое происхождение, ни даже число. На рубеже II и III вв. Ориген называет их количество, исходя из числа даров, — трое — и имена: Авимелех, Охозат, Фикол. Один из знаменитых учителей Церкви, св. Климент Александрийский (Тит Флавий Климент; ок. 150 — ок. 219) помещает родину царей в Месопотамии и Персии. На Западе в VIII в. в анонимной хронике, названной позднейшими издателями «*Excerpta latine barbara*» — «Извлечения из [текстов на] варварской латыни», цари-волхвы получают имена, близкие к общеизвестным, — Битзарей, Мелихиор и Гатасп. Почитание св. царей отмечено уже во II в., но кульминации достигает к эпохе крестовых походов. В XII в. практически окончательно фиксируются их имена в западной традиции — Вальтасар, Мельхиор и Гаспар,

иначе — Каспар (но не вполне окончательно, ибо Иоанн Хильдесхаймский дает форму «Йаспар»), день поминовения — 23 июля, и небесная «специализация» — покровительство путешествующим. Последний всплеск популярности трех царей-волхвов на Западе приходится на эпоху великих географических открытий (кон. XV — кон. XVI вв.), когда волхвы оказываются святыми патронами мореплавателей и миссионеров и — чему свидетельством изобразительное искусство тех времен — символизируют три расы: белую, желтую и черную, либо три части света: Европу, Азию и Африку». (Из комментария Д.Э. Харитоновича к кн.: «Легенда о трех святых царях Иоанна Хильдесхаймского». М.: Энигма, готовится к изданию.)

*...останки трех святых царей... были перенесены в Кёльн... — в 1162 г. из Милана Рейнольдом Дассельским после разрушения города Фридрихом I Барбароссой. (Из комментария, указанного выше.)*

*С этой легендой связана другая... — «О трех царях» из анонимного сборника назидательных рассказов «Римские деяния», возникшего, по-видимому, в Англии. См.: «Средневековые латинские новеллы XIII в.» Л., 1980. С. 36—37.*

С. 175

*...волхвы ассоциируются с тремя человеческими расами: азиатской, европейской и африканской... — В лекции 30.XII.1904 г. Штайнер говорит: «Вся эта символика [праздника Богоявления. — Ред.] — как и всякие мистерии вообще — сохранялась в стро-*

жайшей тайне вплоть до XV в., до этих пор ничего значительного не было обнаружено. Начиная с XV в. на [смысл] праздника “Трех волхвов с Востока” падает некоторый свет благодаря появлению экзотерических картин, представлявших трех святых царей в образах: мавра, африканца, и это Каспар, белого, европейца, — Мельхиор и одного типично азиатского царя, с цветом кожи индуса — это Валтасар. <...> Кто же такие эти волхвы? — Посвященные предыдущих трех рас, посвященные рода человеческого эпохи, предшествовавшей явлению Христа <...> Но почему они предстают нам трехцветно, в черном, желтом и белом обличье? Чернокожим африканцем, белокожим европейцем и желтокожим индусом? Связано это с тремя так называемыми коренными расами. Черное — отголоски [3-й, или. — *Ред.*] лемурийской расы, желтое — [4-й, или. — *Ред.*] атлантической, а белое — это представители пятой коренной расы, послеплатантической, т. е. арийской. Таким образом, в трех царях, или волхвах, перед нами представители лемурийцев, атлантийцев и арийцев”. (Beiträge zur Rudolf Steiner Gesamtausgabe, Н. 60, Dornach/Schweiz 1977, S. 3—5.) Описание волхвов как представителей древнеегипетского (Каспар), протоиранского (Мельхиор) и протоиндийского (Валтасар) культурных периодов и духовной связи их пожертвованной Младенцу мудрости с евангельским воскрешением соответственно юноши из Наина, Лазаря и дочери Иаира, а также связи последних с судьбой нашего 5-го и грядущих 6-го и 7-го после-

атлантических периодов можно прочесть в кн.: R. Steiner Gesamtausgabe, Bd. 264, S. 227—237.

С. 177

*...изначально солнце было телом Христа...* — О теогонической и космогонической связи Христова существа с миром Солнца, а существа Иеговы с миром Луны см.: Р. Штайнер. Очерк тайноведения. Ереван, 1991. Гл. “Развитие мира и человек”.

С. 178

*Как и исповедники древнейших мистерий, христиан-эзотерик...* — по данным антропософского исследования после Голгофской мистерии “видение солнца в полночь” претерпело радикальное изменение. (См.: Р. Штейнер. Рождество. М., 1918.)

С. 183

*...указанного типа теософия...* — В тот период своей деятельности, когда читалась настоящая лекция, Штайнер излагал представляемую им духовную науку как публично — в книгах и открытых лекциях, — так и в рамках Теософского общества. В данном случае, как это видно из общей связи рассмотрения, он отличает знакомую слушателям теософию в трактовке Е.П. Блаватской от более глубоких корней такого всемирно-исторического явления, как теософия вообще. Речь идет о богумудрии тайноведческих школ первохристианской эпохи (греч. слово *theosophia* встречается уже у Дионисия Ареопагита) и его позднейшем продолжении: так, в XVII в. слово “теософия” было просто синонимом учения розенкрейцеров и доктрины Я. Бёме.

*...нашли отражение в его поэме “Тайны”...* —

Сохранилась запись беседы В. Рата с Р. Штайнером (16.X.1922), в которой последний говорил о своем видении духовно-исторического пробраза событий, описанных в поэме Гёте. Рат рассказывает: «На вопрос о значении встречи 12 возвышенных “друзей Божиих” с состарившимся “другом Божиим из Оберланда”, состоявшейся на Пасху 1380 г. и описанной в последнем письме “друга Божия”, Рудольф Штайнер отвечал: “Видите ли, здесь перед Вами переход к розенкрейцерству. Речь идет о том же, на что указал Гёте в своей поэме “Тайны”. С тех пор Христиан Розенкрейц является вождем духовной жизни Запада. С этого времени он воплощен в каждом столетии, равно как и Учитель Иисус, “друг Божий из Оберланда”. В каждом веке они сменяют друг друга, причем Учитель Иисус действует с этих пор тоже в смысле Христиана Розенкрейца»». (Rudolf Steiner Gesamtausgabe, Bd. 264, Dornach 1984, S. 238; переведено с исправлением одной опечатки.) В 1924 г. Штайнер отмечал, что «...Христиан Розенкрейц был членом круга двенадцати “друзей Божиих”, о тайной встрече которых сообщает “друг Божий из Оберланда”» (там же). “Друг Божий” из Оберланда (т. е. “страны горней”) — духовный наставник Иоганна Таулера (подробнее см.: Р. Штайнер. Мистика на заре духовной жизни нового времени и ее отношение к современным мировоззрениям. Ереван, 1993). «Учитель Иисус» — тайноведческое имя индивидуальности Заратустры после Мистерии Голгофы. (См.: Р. Штейнер. “Евангелие от Луки”. New York, 1965. С. 124 сл.)

С. 184

*Перевод ... С.В. Шервинского.* — Печатается по изд.: Гёте. Собр. соч. в 13 тт. Т. 2. М.—Л., 1932.

С. 185

*...мы... проживаем ряд воплощений...* — Подробнее см.: Р. Штайнер. Теософия. Ереван, 1990.

С. 186

*...эфирное тело... астральное тело...* — Эфирное тело — невидимый сверхчувственный организм жизненных сил. Астральное тело — низшее душевное начало, носитель сознания, страстей, инстинктов. Подробнее см. Указ. соч.

С. 188

*Самодух, жизнедух, духочеловек* — высшее начало человека, определенным образом отражающее Божественную Троицу. Подробнее см.: Р. Штайнер. Указ. соч.; *Он же.* Очерк тайноведения. Ереван, 1992; *Он же.* Воспитание ребенка с точки зрения духовной науки. М., 1993.

С. 206

*“Куда ни обернется, — все отменно...”* — Эту строфу Гёте опубликовал в последнем прижизненном Собрании своих сочинений как отдельное стихотворение без заглавия, но со следующим примечанием: “Отрывок, который, однако, мыслящий сумеет включить”.

С. 207

*Астральный мир* — в онтологической иерархии сущего более высокий, нежели физический мир, план бытия. Сам термин происходит от средневековых спиритуальных космологических учений

сущего более высокий, нежели физический мир, план бытия. Сам термин происходит от средневековых спиритуальных космологических учений (*astralis* — лат. “звездный”). Некоторые аспекты астральной сферы Штайнер описывает в своей “Теософии” (гл. “Мир душ”) и “Очерке тайноведения” (гл. “Сон и смерть”).

*Небесный мир* — высший, собственно духовный, мир или план существования, следующий за миром астральным. Подробнее см.: Р. Штайнер. “Теософия” (гл. “Страна духов”); Он же. “Очерк тайноведения” (гл. “Сон и смерть”).

С. 208

*Звуча в гармонии вселенной...* — “Фауст”, ч. 1, “Пролог на небесах”.

*Чу! Шумят, бушуют Оры!..* — “Фауст”, ч. 2, д. 1, монолог Ариэля.

*Дэваханическая область* — термин англо-индийской теософии (от санскр. дэва-хан, дэва-чан: “страна богов”), в христианской терминологии: духовный мир, небесный мир, или царство небесное.

С. 210

*“Мне должно заходить, а Ему — восходить”.* — Ср.: Ин. 3:30.

С. 212

*..розенкрейцерское христианство...* — См.: Р. Штайнер. Мистерия и миссия Христиана Розенкрейца. СПб, 1992.

С. Казачков



КОЛЛЕКЦИЯ «ROSARIUM»

*Это название выбрано не случайно — оно продолжает давнюю традицию мирового книгоиздания. “Духовными цветниками” называли собрания лучших произведений знаменитых авторов. Именно такую цель ставила перед собой “Энигма”, задумывая коллекцию жемчужин человеческого гения разных времен и народов. Надеемся, что изящные книги нашего “Цветника” смогут дать читателю ту самую истинно духовную пищу, которой сегодня так недостает, и помогут найти себя в нынешнем сложном мире.*